

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

НА ДНЕ.

ИЗБРАННОЕ

(СБОРНИК)

Русская классика (Эксмо)

Максим Горький

На дне. Избранное (сборник)

«Public Domain»

2003

Горький М.

На дне. Избранное (сборник) / М. Горький — «Public Domain»,
2003 — (Русская классика (Эксмо))

ISBN 5-699-07922-X

Максим Горький: "Женщина иногда может в своего мужа влюбиться." Максим Горький (псевдоним Алексея Максимовича Пешкова; 1868–1936) – едва ли не самый известный и вместе с тем самый «непрочитанный» писатель XX века. Его творческое наследие огромно и разнообразно. В этом томе, составленном на основе современных школьных программ по литературе, перед читателями предстанет разноликий Горький – не только автор самобытной прозы и драматург, но и поэт, а также публицист. Возможно, те, кто окончил школу в советские времена, уже вместе со своими детьми откроют для себя новый образ этого художника слова – способного не только вовремя выпустить пропагандистский роман «Мать», но и прозревавшего сокровенные тайны человеческой природы и людского сообщества.

ISBN 5-699-07922-X

© Горький М., 2003
© Public Domain, 2003

Содержание

От составителя	5
И. Бунин	7
Рассказы и повести	11
Макар Чудра	11
Старуха Изергиль	18
I	18
II	21
III	26
Челкаш	29
I	29
II	35
III	42
Коновалов	47
Болесь	75
Ярмарка в Голтве	78
Бывшие люди	85
I	85
II	100
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Максим Горький

На дне. Избранное (Сборник)

От составителя

Он по-разному подписывал свои произведения. *Антином исходящий и Дон-Кихот, Некто и Пьеро, Иегудиил Хламида и Самокритик Словотеков, Один из тепереиших, А-а! Unicus...* Но всему миру Алексей Максимович Пешков – таково было данное при рождении имя – известен как Максим Горький, или даже короче, М. Горький, Горький.

Многими признано, что настоящий писатель всю жизнь пишет одну книгу. Перу Горького принадлежат романы, пьесы, десятки повестей и рассказов, очерков, стихотворений, фельетонов, литературно-критических и публицистических статей. Он создал литературные портреты многих писателей и политических деятелей, оставил воспоминания о своем времени и его людях. Горький и в тысячах его писем.

Но эта грандиозная Книга Горького – не единственное, оставленное им человечеству. Максим Горький был не только писателем. Он был крупнейшим общественным деятелем, считавшим, что его время «включает в область поэзии совершенно новые темы» и, прежде всего, «борьбу коллективного организованного разума против стихийных сил природы и вообще против „стихийности“ воспитания не классового, а всемирного Человека Человечества, творца „второй природы“, создаваемой энергией его воли, разума, воображения». Горький и стал строителем (а очень часто и создателем) новых форм человеческих отношений, новых форм литературы. С его именем связаны сотни больших и малых начинаний, событий, дел, память о нем навсегда стала частью – светлой или подпаленной – отечественной истории.

Хорошо понимая, что «старый тип литературы и старые приемы изложения» исчерпаны, Горький оставался уверен: «Материал литератора – такой же человек, каков сам литератор». Лучшее подтверждение этому – его творческая практика, автобиографизм его творчества. Однако автобиографизм особого рода.

Хотя, читая Горького, мы узнаем о нем очень много как о человеке времени, нельзя забывать, что это было время великих иллюзий и великих мифов. Время, когда не только расчислялось будущее, но и переписывалось прошлое. Время, когда пересочинялись биографии, когда белое становилось черным, а затем заливалось красным. Горький предсказывал: «Вероятно, лет эдак через пятьдесят, когда жизнь несколько остынет... людям конца XX столетия первая половина его покажется великолепной трагедией, эпосом пролетариата». Сегодня *все, кто не слеп*, осознали, что «эпос пролетариата» оказался самой страшной сказкой нашего века, а Горький – главным рассказчиком-хроникером этой сказки. Его без преувеличения горькая судьба с божественной ясностью показывает, что бывает с писателем, пренебрегающим главным литературным заветом: лирой пробуждать чувства добрые.

Горький, к сожалению, прославился другими афоризмами, порожденными мутацией его юношеского нищестанства под воздействием коммунистических идей. Хотя и расплатился за измену идеалам литературного гуманизма. И своей жизнью почетного заключенного в 1930-е годы, и безвременной смертью, и посмертной судьбой. Объявленный главным большевистским писателем и удостоенный полного академического собрания сочинений, он в этом собрании до сих пор так и не воплотился: оно застыло на половине – слишком многое из написанного Горьким не влезало в клетку, сооруженную партийными идеологами для вроде бы прикормленного *Буревестника Революции*. Публицистика Горького и его письма так полностью и не изданы.

Но – парадокс! – в этом залог самоспасения Горького от забвения. Критические стрелы, полетевшие в его монумент с началом перестройки, стрелы, напоенные лечебным ядом и пра-

ведным гневом, сегодня иссякли. Литературный вождь низвергнут. Остался только писатель. Сделанное Горьким водружено на весы вечности. Мы начинаем читать его по-новому: и общеизвестные, нередко насильно-хрестоматийные вещи, и запрещенные советской цензурой. И соглашаемся с тем, что признавали и его недруги: писать он умел.

В этой книге собраны произведения Горького, которые, возможно, хоть и качаясь на этих весах вечности, все же в реку забвенья не канут.

Сергей Дмитренко

И. Бунин Горький

Эта статья великого русского писателя впервые была напечатана в парижском еженедельнике «Иллюстрированная Россия» (1936. 4 июля. № 28), вскоре после кончины А.М. Пешкова (Горького). Печатается по изд.: Бунин И.А. Публицистика 1918–1953 годов. М., 1998. С. 410–416.

Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, – странной потому, что чуть не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, – начало это относится к 1899 году. А конец – к 1917. Тут случилось нечто еще более странное: человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне приступы ужаса, негодования. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществующим. Но вот громкий, безразличный голос из радио:

– L'écrivain Maxime Gorki est decede... Alexis Pechkoff, connu en litterature sous le nom Maxime Gorki, etait ne en 1868 a Nijni-Novgorod d'une famille de Cosaques...¹

«Decede...» Очень сложные чувства.

В первый раз в жизни слышу о его казацком происхождении. Может быть, он и правда был казак? Я уже это писал: о нем, как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет точного представления. Кто знает его биографию достоверную? Молва все еще твердит: «Босьяк, поднялся со дна моря народного...» В словаре Брокгауза читаешь другое: «Горький-Пешков, Алексей Максимович. Родился в 1868 году, в среде вполне буржуазной: отец – управляющий большой паровой конторой, мать – дочь богатого купца красильщика...» Дальнейшее основано только на автобиографии Горького... Был в мальчишеские годы поваренком на волжском пароходе, потом где-то садовником... торговал яблоками... Был письмоводителем у нижегородского адвоката Ланина; уйдя от него, «бродил по югу России»...

В 92-м году он напечатал в газете «Кавказ» свой первый очерк – «Макар Чудра». Через три года после того появился знаменитый «Челкаш». К этой поре и относятся мои первые сведения о нем. Я жил тогда в Малороссии, в Полтаве, и вот прошел по Полтаве слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с такими полями и с суковатой дубинкой в руке...» А познакомились мы весной 99-го года. Приезжаю в Крым, в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет Чехов, а рядом с ним кто-то громко говорящий басом и все время высоко взмахивающий руками из крылатки. Здравуюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь – Бунин – Горький». Знакомлюсь и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, в руках толстая палка. Под крылаткой ярко-желтая шелковая рубашка, подпоясанная толстым и длинным шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и сутулый красно-рыжий мастеровой с зеленоватыми небольшими глазами, быстрыми и уклончивыми, с широкими ноздрями седловатого носа, веснушчатый, с желтыми моржовыми усами, которые он, покашливая, все поглаживает пальцами: немножко поплюет на них и погладит...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

¹ Скончался писатель Максим Горький... Алексей Пешков, известный в литературе под именем Максим Горький, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде в казацкой семье... (фр.)

– Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:

– Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу... Ничего? Сносно?

Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове, – милый, шутиливо-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевым волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае – с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно, – впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи, – одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружились и некоторые другие его черты, которые я неизменно видел впоследствии много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, – на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики, рассказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, – когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромен и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожании культуры и литературы, разговоры о которых были настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствии, начал он говорить еще тогда, в Ялте:

– Понимаете, вы же настоящий писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат, писатель для нового читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души, – только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомненно, была и тут игра, умиление «культурностью» своей роли, было и то самоунижение, которое паче гордости. Но была и большая искренность – можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудно сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, – пусть простят мне это слово, – воровской щеголеватостью и мягкостью, легкостью, – я не мало видал таких походок в одесском порту. У него были большие, ласковые, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, приятно жал ее, целовался мягкими губами крепко, взасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросший волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны – кожа лба и брови все лезли вверх к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, – то, что потом так сказалось у его сына Максима, которого я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостного визга доводил своей скачкой по комнате.

Ко времени первой встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности, мало того, что Горький так отвечал этой революционности: в ту пору шла еще страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную

ставку. И вот каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся – и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая жизнь», начинал издательство «Знание»... Он уже писал для Художественного театра, артистке Книппер делал на своих книгах такие, например, посвящения:

– Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливицы все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, – выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, – громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабанив большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь, – хотя и без умолку, – они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращение к нему его имя:

– Совершенно верно, Алексей... Нет, ты не прав, Алексей... Видишь ли, Алексей... Дело в том, Алексей...

Все молодое уже исчезло в нем, – с ним это случилось очень быстро, – цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше, – его уже называли унтером, – на лице появилось много морщин, во взгляде – что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, – сама Ермолова и уже старая в ту пору! – подошла к нему и поднесла ему подарок – чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нее слезы на глаза выступили:

– Вот, Максим Алексеевич... Алексей Максимович... Вот я... вам...

Он в это время стоял возле стола, тушил в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее.

– Я хотела выразить вам, Алексей Максимович...

Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Иова»:

– «Доколе же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня даже на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»

А что, если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андреев, Скиталец и прочие «Подмаксимки» тоже стали носить длинные сапоги, блузы и поддевки. Это было нестерпимо. Раз вечером, среди толпы, тесно двигавшейся во время антракта в фойе Художественного театра, эти «Подмаксимки» шли целой гурьбой, и я громко сказал, подходя к ним, тоном и словами Коко из «Плодов просвещения», увидавшего в своей прихожей мужиков:

– Э, э, э... Вы – охотники?

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, – были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание», участвовал в «Сборниках „Знания“». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие, – больше всего из-за марки „Знания“, – тоже неплохо. „Знание“ сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в „Сборниках Знания“ кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он – 1000 рублей. Большие деньги он всегда любил, – любил все большое. Тогда начал он и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно).

Я всегда дивился, – как это его на все хватает: изо дня в день на людях, – то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, – говорит, не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов – и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!

Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал ее в те немногие годы, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу России». Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Никогда и нигде не бродил и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... В 1905 году, после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри, – до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге... Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне, эти годы я видел его таким, каким еще никогда не видал.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним дружески. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с каким-то культурным призывом, потащил и меня туда. Выйдя на сцену, он сказал: «Господа, среди нас такой-то...» Собрание очень бурно меня приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, с Шаляпиным, с А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведро с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал, на вечную разлуку, как оказалось.

20. VI.1936.

Рассказы и повести

Макар Чудра

С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные, желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя, окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева – безграничную степь, справа – бесконечное море и прямо против меня – фигуру Макара Чудры, старого цыгана, – он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в пятидесяти от нас.

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову и мертво молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра.

– Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай – вот и всё!

– Жизнь? Иные люди? – продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «Так и надо». – Эге! А тебе что до того? Разве ты сам – не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому.

– Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее – те ничего не получают, и всякий сам учится...

– Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько, – он широко повел рукой на степь. – И всё работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, – дураком.

– Что ж, – он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ведомо ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб – как только родился, всю жизнь раб, и всё тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

– А я, вот смотри, в 58 лет столько видел, что коли написать всё это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить: иди, иди – и всё тут. Долго не стой на одном месте – чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься – разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол.

– В тюрьме я сидел, в Галичине. «Зачем я живу на свете?» – помыслил я со скуки, – скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно! – и взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и всё тут. И похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот как!

– Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек, из ваших, русских. Нужно, говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в божьем слове. Богу покоряйся, и он даст тебе всё, что попросишь у него. А сам он весь в дырках, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у бога. Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже – учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня-думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого, грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучащий – пела ли она песню, говорила ли «здравствуй». На ее смуглом, матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темно-карих глазах сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама.

Макар подал мне трубку.

– Кури! Хорошо поет девка? То-то! Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила? Нет? Хорошо! Так и надо – не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться лучше и приятней, чем мне трубку курить, а поцеловал ее – и умерла воля в твоём сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать – нельзя, и отдашь ты ей всю душу. Верно! Берегись девок! Лгут всегда! Люблю, говорит, больше всего на свете, а ну-ка, уколи ее булавкой, она разорвет тебе сердце. Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни и, как запомнишь, – век свой будешь свободной птицей.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия, и Чехия, и Славония, и всё, что кругом моря, знало его, – удалый был малый! Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить Лойко, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня – все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге! разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то, наверно бы, крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыла – это уж как раз!

«И все таборы его знали или слыхали о нем. Он любил только коней и ничего больше, и то недолго – поездит да и продаст, а деньги кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного – нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди да тебе и отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!

«Наш табор кочевал в то время по Буковине, – это годов десять назад тому. Раз – ночью весенней – сидим мы: я, Данило-солдат, что с Кошутым воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка.

«Ты Нонку мою знаешь? Царица-девка! Ну, а Радду с ней равнять нельзя – много чести Нонке! О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает.

«Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидел ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как молния сверкает, чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно неба кусок, – важный был господарь старый! Смотрел, смотрел да и говорит Радде: „Гей! Поцелуй, кошель денег дам“. А та отвернулась в сторону, да и только! „Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковой“, – сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель – большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и всё тут.

«– Эх, девка! – охнул он да и плетью по коню – только пыль взвилась тучей.

«А на другой день снова явился. „Кто ее отец?“ – громом гремит по табору. Данило вышел. „Продай дочь, что хочешь возьми!“ А Данило и скажи ему: „Это только паны продают всё, от своих свиней до своей совести, а я с Кошутым воевал и ничем не торгую!“ Взревел было

тот да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись да и пошли. День идем и два, смотрим – догнал! „Гей вы, говорит, перед богом и вами совесть моя чиста, отдайте девку в жены мне: всё поделю с вами, богат я сильно!“ Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались.

«– А ну-ка, дочь, говори! – сказал себе в усы Данило.

«– Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? – спросила нас Радда.

«Засмеялся Данило и все мы с ним.

«– Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Голубок ищи – те податливей. – И пошли мы вперед.

«А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была Радда, сокол!

«Да! Так вот раз ночью сидим мы и слышим – музыка плывет по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то. Всем нам, мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было, или, коли жить, так – царями над всей землей, сокол!

«Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас.

«– Эге, Зобар, да это ты! – крикнул ему Данило радостно. Так вот он, Лойко Зобар!

«Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, горят, а улыбка – целое солнце, ей-богу! Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь! Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете!

«Вот, сокол, какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей! Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то! А слушай-ка дальше.

«Радда и говорит: „Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это делал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?“ А тот смеется: „Я сам делал! И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще немного скрипка, ну, да я умею смычок в руках держать!“

«Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтоб они не зажгли его сердца, а сами подернулись бы по тебе грустью, вот и Лойко тож. Но – не на ту попал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув, сказала: „А еще говорили, что Зобар умен и ловок, – вот лгут люди!“ – и пошла прочь.

«– Эге, красавица, у тебя остры зубы! – сверкнул очами Лойко, слезая с коня. – Здравствуйте, братья! Вот и я к вам!

«– Просим гостя! – сказал Данило в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать... Крепко спали. А наутро, глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного.

«Э, э, э! Поняли мы, кто тот конь, и улыбнулись в усы, и Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил Радды? Ну, уж нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, всё равно лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно!

«Живем мы да живем на том месте, дела у нас о ту пору хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить – век бы не спал, слушал его! А играет – убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл! Проведет, бывало, по струнам смычком – и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз – и замрет оно, слушая, а он играет и улыбается. И плакать и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит

помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра молодца! Добрый молодец кличет девицу в степь. И вдруг – гей! Гроном гремит вольная, живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню! Вот как, сокол!

«Каждая жила в твоём теле понимала ту песню, и весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойко: „В ножи, товарищи!“ – то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Всё он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили, только Радда одна не смотрит на парня; и ладно, коли б только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко! Зубами скрипит, дергая себя за ус, Лойко, очи темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью далеко в степь Лойко, и плачет до утра его скрипка, плачет, хоронит Зобарову волю. А мы лежим да слушаем и думаем: как быть? И знаем, что, коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя – изувечат. Так и шло дело.

«Вот сидели мы, все в сборе, и говорили о делах. Скучно стало. Данило и просит Лойко: „Спой, Зобар, песенку, повесели душу!“ Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было! И запел Лойко:

Гей-гей! В груди горит огонь,
А степь так широка!
Как ветер, быстр мой борзый конь,
Тверда моя рука!

«Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи певуну. Вспыхнул, как заря, он.

Гей-гоп, гей! Ну, товарищ мой!
Поскачем, что ль, вперед?!
Одета степь суровой мглой,
А там рассвет нас ждет!
Гей-гей! Летим и встретим день.
Взвивайся в вышину!
Да только гривой не задень
Красавицу-луну!

«Вот пел! Никто уж так не поет теперь! А Радда и говорит, точно воду цедит:

«– Ты бы не залетал так высоко, Лойко, неравно упадешь да – в лужу носом, усы запачкаешь, смотри. – Зверем посмотрел на нее Лойко, а ничего не сказал – стерпел парень и поет себе:

Гей-гоп! Вдруг день придет сюда,
А мы с тобою спим.
Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда
В огне стыда сгорим!

«– Это песня! – сказал Данило. – Никогда не слыхал такой песни; пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру я!

«Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и воем нам по душе была удалая Зобарова песня! Только Радде не понравилась.

«– Вот так однажды комар гудел, орлиный клекот передразнивая, – сказала она, точно снегом в нас кинула.

«— Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? – потянулся Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку да и говорит, весь черный, как земля:

«— Стой, Данило! Горячему коню – стальные удила! Отдай мне дочку в жены!

«— Вот сказал речь! – усмехнулся Данило. – Да возьми, коли можешь!

«— Добро! – молвил Лойко и говорит Радде: – Ну, девушка, послушай меня немного да не кичись! Много я вашей сестры видел, эге, много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну что ж? Чему быть, так то и будет, и... нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно б было!.. Беру тебя в жены перед богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь – я свободный человек и буду жить так, как я хочу! – И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул он ей руку, – вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда! Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь затылком – грох!..

«Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги да и дернула к себе, – вот отчего упал Лойко.

«И снова уж лежит девка не шевелясь да усмехается молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо да и пошел в степь, ни на кого не глядя, Нур шепнул мне: „Смотри за ним!“

И пополз я за Зобаром по степи в темноте ночной. Так-то, сокол!»

Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и, лежа, смотрел в его старое лицо, черное от загара и ветра. Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя; седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но всё еще мощный, крепкий и гордый силой своей. Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер всё так же носил его шёпот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней.

«Шел Лойко нога за ногу, повеся голову и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но всё ж не подошел к нему. Словом горю не поможешь – верно?! То-то! Час он сидит, другой сидит и третий не шелохнется – сидит.

«И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил, и далеко всё видно.

«Вдруг вижу: от табора спешно Радда идет.

«Весело мне стало! „Эх, важно! – думаю, – удалая девка Радда!“ Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо; вздрогнул Лойко, разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за нож! Ух, порежет девку, вижу я, и уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним, вдруг слышу:

«— Брось! Голову разобью! – Смотрю: у Радды в руке пистоль, и она в лоб Зобару целит. Вот сатана девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что будет дальше?

«— Слушай! – Радда заткнула за пояс пистоль и говорит Зобару: – Я не убить тебя пришла, а мириться, бросай нож! – Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат! Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц да я – и всё тут.

«— Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю! – говорит Радда. Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам.

«— Видала я молодых, а ты удалей и краше их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил – моргни я ему глазом, все они пали бы мне в ноги, захоти я того. Но что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обабила. Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой и телом, слышишь? – Тот усмехнулся.

«— Слышу! Весело сердцу слушать твою речь! Ну ка, скажи еще!

«— А еще вот что, Лойко: всё равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени — впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов-цыган, не зазвучат по степям больше — петь ты будешь любовные, нежные песни мне, Радде... Так не теряй даром времени, — сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне как старшему товарищу юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою — и тогда я буду твоей женой.

«Вот чего захотела чёртова девка! Этого и слыхом не слыхано было; только в старину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган — никогда! Ну-ка, сокол, выдумай что ни то посмешнее? Год поломаешь голову, не выдумаешь!

«Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненный в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя.

«— Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойко?

«— Слышу! Сделаю, — застонал Зобар и протянул к ней руки. Она и не оглянувшись на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь.

«Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привел его в себя.

«Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут!..

«Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть — что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришел и Лойко. Был он смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились; он опустил их и, не подымая, сказал нам:

«— Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только — и всё тут! Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойко Зобара, который до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? — Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, как Лойко Зобар упадет в ноги девке — пусть эта девка и Радда. Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно.

«— Ну! — крикнула Радда Зобару.

«— Эге, не торопись, успеешь, надоест еще... — засмеялся он. Точно сталь зазвенела, — засмеялся.

«— Так вот и всё дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же, — простите меня, братцы!

«Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а уж Радда лежала на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.

«А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

«— Прощай, Лойко! я знала, что ты так сделаешь!.. — да и умерла...

«Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была!

«— Эх, да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! — на всю степь гаркнул Лойко да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча.

«Что скажешь в таком деле, сокол? То-то! Нур сказал было: „Надо связать его!..“ Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул

он рукой да и отошел в сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами, на том ноже еще не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!

«— Вот так! — повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко и ушел догонять Радду.

«А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица.

«Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а Нур, седой как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи.

«Было тут над чем плакать, сокол!

«...Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загнинешь даром. Вот и всё, сокол!»

Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом.

— Гоп, гоп, эгой! — крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне: — Спать пора! — Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк.

Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками.

А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы...

Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган — Лойко Зобару и Радде, дочери старого солдата Данилы.

А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой.

Старуха Изергиль

I

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины – бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки – веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили всё дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их всё прекраснее.

Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким контральто, слышался смех...

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут – мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там – резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Всё это – звуки и запахи, тучи и люди – было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И всё как бы остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

– Что ты не пошел с ними? – кивнув головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

– Не хочу, – ответил я ей.

– У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и сильный...

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.

– Смотри, вон идет Ларра!

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрее и ниже сестер, – она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.

– Никого нет там! – сказал я.

– Ты слеп больше меня, старухи. Смотри – вон, темный, бежит степью!

Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.

– Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?

– Потому что это – он. Он уже стал теперь как тень, – пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать бог с человеком за гордость!..

– Расскажи мне, как это было! – попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях.

И она рассказала мне эту сказку.

«Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтобы укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там.

«Вот какая щедрая земля в той стране! «Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.

«Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но – не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле».

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.

«Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И, когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся, в последний раз, высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них...

«Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их – он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

«– Ему нет места среди нас! Пусть идет, куда хочет.

«Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, – к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

«Всех, кто видел это, оковал страх, – впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, – не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же – слишком просто и не удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь странными тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листе винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шепталась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и всё обильнее лил на степь голубоватую мглу...

«И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления... Хотели разорвать его лошадьми – и это казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали

много – и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

«– Спросим его, почему он сделал это?

«Спросили его об этом. Он сказал:

«– Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!

«А когда развязали его, он спросил:

«– Что вам нужно? – спросил так, точно они были рабы...

«– Ты слышал... – сказал мудрец.

«– Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

«– Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно, ты умрешь ведь... Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем...

«– Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, – что меня оттолкнула она... А мне было нужно ее.

«– Но она не твоя! – сказали ему.

«– Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги... а владеет он животными, женщинами, землей... и многим еще...

«Ему сказали на это, что за всё, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда – жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

«Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.

«Когда люди увидели это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, – тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

«– Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему – в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

«И тут произошло великое. Грянул гром с небес, – хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись.

А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон, – юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его – не был человеком... А этот – был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек – всё, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вилял около людей, долго – не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

«– Не троньте его! Он хочет умереть!

«И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и всё искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож – точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

«– Он не может умереть! – с радостью сказали люди.

«И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел – высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков – ничего. И всё ищет, ходит, ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!»

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась.

Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне, и стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели, – странно запели. Сначала раздался контральто, – он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, а первый всё лился впереди его... – третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.

Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами...

II

– Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? – спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

– Не слышал. Никогда не слышал...

– И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь, – красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже – поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот – поют.

– Но здоровье... – начал было я.

– Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье – то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой поры дожила – хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и дала!..

Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами.

Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом:

– Я жила с матерью под Фальчи, на самом берегу Бырлада; и мне было пятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна: «Эй, нет ли у вас вина... и поесть мне?» Я посмотрела

в окно сквозь ветви ясеней и вижу: река вся голубая от луны, а он, в белой рубаше и в широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу. И покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит: «Вот какая красавица живет тут!.. А я и не знал про это!» Точно он уж знал всех красавиц до меня! Я дала ему вина и вареной свинины... А через четыре дня дала уже и всю себя... Мы всё катались с ним в лодке по ночам. Он приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку. И едем... Он был рыбаком с Прута, и потом, когда мать узнала про всё и побила меня, уговаривал всё меня уйти с ним в Добруджу и дальше, в дунайские гирла. Но мне уж не нравился он тогда – только поет да целуется, ничего больше! Скучно это было уже. В то время гуцулы шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут... Так вот тем – весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке, – и вдруг он один, а то с двумя-тремя товарищами, как с неба, упадет к ней. Подарки подносил богатые – легко же ведь доставалось всё им! И пирует у нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их... Как ее звали? Забыла как... Всё стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, всё забудешь! Она меня познакомила с молодцом. Был хорош... Рыжий был, весь рыжий – и усы, и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо... А я, как кошка, вскочила ему на грудь да и впилась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее...

– А рыбак куда девался? – спросил я.

– Рыбак? А он... тут... Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала всё уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом – ничего, пристал к ним и другую завел... Их обоих и повесили вместе – и рыбака, и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!..» Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли... Все-таки румыну заплатили после... Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.

– Это ты сделала? – наудачу спросил я.

– Много было друзей у гуцулов, не одна я... Кто был их лучшим другом, тот и справил им поминки...

Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн, – задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Всё мягче становилась ночь, и всё больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возрастающим шорохом волн... ибо усиливался ветер.

– А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила, – ничего... Но скучно стало... – всё женщины, женщины... Восемь было их у него... Целый день едят, спят и болтают глупые речи... Или ругаются, квохчут, как курицы... Он был уж немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил – как владыка... Глаза были черные... Прямые глаза... Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букурешти увидела... Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» – говорит. «О да, поеду!» – «Хорошо!» И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был – черненький мальчик, гибкий такой... Ему лет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка... Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку... Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего – уже не помню.

Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька... и к ней из монастыря другого – около Арцер-Паланки, помню, – ходил брат, тоже монашек... Такой... как червяк, всё извивался предо мной... И когда я выздоровела, то ушла с ним... в Польшу его.

– погоди! А где маленький турок?

– Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви... но стал сохнуть он, так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца... так и сох всё... Помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а всё еще в нем горит любовь... И всё просит наклониться и поцеловать его... Я любила его и, помню, много целовала. Потом уж он совсем стал плох – не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним... он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный... мертвый... Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная... а он – что же?... Мальчик!..

Она вздохнула и – первый раз я видел это у нее – перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами.

– Ну, отправилась ты в Польшу... – подсказал я ей.

– Да... с тем, маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О! О!.. Я рассердилась! Я закипела, как смола! Я взяла его на руки и, как ребенка, – он был маленький, – подняла вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а он барахтался там, в воде. Я ушла тогда. И больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это: никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи, всё равно как бы с покойниками.

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, уса́тый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные, голубые глаза, которые на всё смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черно-усый рыбак с Прута; плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный... И все они – только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, – тоже почти тень.

Она продолжала:

– В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Всё шипят... Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил меня; не для себя купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить – надо уметь что-нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь, если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на Бырлад, я порву цепи, как бы они крепки ни были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго и раз вот что сделал: пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стучали меня по голове, и мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сырое лицо, и живот – как большая подушка. Он смотрел, как

сытая свинья. Да, выгнала я его, хоть он и говорил, что продал все земли свои, и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Всё лицо было у него изрублено крест-накрест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек!.. Что ему греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке были тоже отрублены... Что ему греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, – те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно... О, этот, рубленный, был хороший человек! Он готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи!..

И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг замолчала сама, задумалась.

– Знала также я и венгра одного. Он однажды ушел от меня, – зимой это было, – и только весной, когда стаял снег, нашли его в поле с простреленной головой. Вот как! Видишь – не меньше чумы губит любовь людей; коли посчитать – не меньше... Что я говорила? О Польше... Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича... Вот был красив! Как черт. Я же стара уж была, эх, стара! Было ли мне четыре десятка лет? Пожалуй, что и было... А он был еще и горд, и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал... да. Он хотел сразу так себе взять меня, но я не далась. Я не была никогда рабой, ничьей. А с жидом я уже кончила, много денег дала ему... И уже в Кракове жила. Тогда у меня всё было: и лошади, и золото, и слуги... Он ходил ко мне, гордый демон, и всё хотел, чтоб я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним... Я даже, – помню, – дурнела от этого. Долго это тянулось... Я взяла свое: он на коленях упрашивал меня... Но только взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что стала стара... Ох, это было мне несладко! Вот уж несладко!.. Я ведь любила его, этого черта... а он, встречаясь со мной, смеялся... подлый он был! И другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж горько было мне, скажу! Но он был тут, близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать... И решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу.

Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши... и что он в плену, недалеко в деревне.

«Значит, – подумала я, – не увижу уже его больше!» А видеть хотелось. Ну, стала стараться увидеть... Нищей оделась, хромой, и пошла, завязав лицо, в ту деревню, где был он. Везде казаки и солдаты... дорого мне стоило быть там! Узнала я, где поляки сидят, и вижу, что трудно попасть туда. А нужно мне это было. А вот ночью поползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду между гряд и вижу: часовой стоит на моей дороге... А уж слышно мне – поют поляки и говорят громко. Поют песню одну... к матери бога... И тот там же поет... Аркадэк мой. Мне горько стало, как подумала я, что раньше за мной ползали... а вот оно, пришло время – и я за человеком поползла змеей по земле и, может, на смерть свою ползу. А этот часовой уже слушает, выгнулся вперед. Ну, что же мне? Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа. Шепчу: «Погоди!..» А он, солдат этот, уже приставил к горлу мне штык. Я говорю ему шепотом. «Не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть! Не могу тебе ничего дать, а прошу тебя...» Он опустил ружье и также шепотом говорит мне: «Пошла прочь, баба! пошла! Чего тебе?» Я сказала ему, что сын у меня тут заперт... «Ты понимаешь, солдат, – сын! Ты ведь тоже чей-нибудь сын, да? Так вот посмотри на меня – у меня есть такой же, как ты, и вон он где! Дай мне посмотреть на него, может, он умрет скоро... и, может, тебя завтра убьют... будет плакать твоя мать о тебе? И ведь тяжело будет тебе умереть, не взглянув на нее, твою мать? И моему сыну тяжело же. Пожалей же себя и его, и меня – мать!»

Ох, как долго говорила я ему! Шел дождь и мочил нас. Ветер выл и ревел, и толкал меня то в спину, то в грудь. Я стояла и качалась перед этим каменным солдатом... А он всё говорил – «Нет!» И каждый раз, как я слышала его холодное слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, Аркадэка... Я говорила и мерила глазами солдата – он был маленький, сухой и всё кашлял. И вот я упала на землю перед ним и, охватив его колени, всё упрашивая его горячими словами, свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтоб он не кричал. Он не кричал, а только всё барахтался, стараясь сбросить меня с своей спины. Я же обеими руками втискивала его голову глубже в грязь. Он и задохнулся... Тогда я бросилась к амбару, где пели поляки. «Аркадэк!..» – шептала я в щели стене. Они догадливые, эти поляки, – и, услышав меня, не перестали петь! Вот его глаза против моих. «Можешь ты выйти отсюда?» – «Да, через пол!» – сказал он. «Ну, иди же». И вот четверо их вылезло из-под этого амбара: трое и Аркадэк мой. «Где часовые?» – спросил Аркадэк. «Вон лежит!» И они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер выл громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли лесом. Быстро так шли. Аркадэк держал меня за руку, и его рука была горяча и дрожала. О!.. Мне так хорошо было с ним, пока он молчал. Последние это были минуты – хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот мы вышли на луг и остановились. Они благодарили меня все четверо. Ох, как они долго и много говорили мне что-то! Я всё слушала и смотрела на своего пана. Что же он сделает мне? И вот он обнял меня и сказал так важно... Не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь он в благодарность за то, что я увела его, будет любить меня... И стал он на колени предо мной, улыбаясь, и сказал мне: «Моя королева!» Вот какая лживая собака была это!.. Ну, тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и вскочил. Грозный и бледный стоит он предо мной... Стоят и те трое, хмурые все. И все молчат. Я посмотрела на них... Мне тогда стало – помню – только скучно очень, и такая лень напала на меня... Я сказала им: «Идите!» Они, псы, спросили меня. «Ты воротишься туда, указать наш путь?» Вот какие подлые! Ну, все-таки ушли они. Тогда и я пошла... А на другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда увидела я, что пора мне завести гнездо, будет жить кукушкой! Уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели... Пора, пора! Тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу. И вот уже около трех десятков лет живу здесь. Был у меня муж, молдаванин; умер с год тому времени. И живу я вот! Одна живу... Нет, не одна, а вон с теми.

Старуха махнула рукой к морю. Там всё было тихо. Иногда рождался какой-то краткий, обманчивый звук и умирал тотчас же.

– Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Еще молодые все... И мне хорошо с ними. Смотрю и думаю: «Вот и я, было время, такая же была... Только тогда, в мое время, больше было в человеке силы и огня, и оттого жилось веселее и лучше... Да!..»

Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то... может быть, молилась.

С моря поднималась туча – черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла собака... Воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова... На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.

– Видишь ты искры? – спросила меня Изергиль.

– Вон те, голубые? – указывая ей на степь, сказал я.

– Голубые? Да, это они... Значит, летают все-таки! Ну-ну... Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть.

– Откуда эти искры? – спросил я старуху. Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль.

– Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем... И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это... Тоже старая сказка. Старое, всё старое! Видишь ты, сколько в старине всего?.. А теперь вот нет ничего такого – ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину... Почему?.. Ну-ка, скажи! Не скажешь... Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы в старину зорко – там все отгадки найдутся... А вот вы не смотрите и не умеете жить оттого... Я не вижу разве жизнь? Ох, всё вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут – судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где ж они?.. И красавцев становится всё меньше.

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа.

Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что, если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону.

И вот она начала рассказ.

III

«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой – была степь. Были это веселые, сильные смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна – назад, – там были сильные и злые враги, другая – вперед, – там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опутив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... Люди всё сидели и думали. Но ничто – ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум... Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых, – и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом всё громче и громче... Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни... Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос ее, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди...

«Данко – один из тех людей, молодой красавец. Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

«– Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец – всё на свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей!..

«Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

«– Веди ты нас! – сказали они.

«Тогда он повел...»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где всё густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повел их Данко. Дружно все пошли за ним – верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... Всё гуще становился лес, всё меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен.

«Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающимися вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гнев обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, – вот как!

«Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

«– Ты, – сказали они, – ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!

«– Вы сказали: „Веди!“ – и я повел! – крикнул Данко, становясь против них грудью. – Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

«Но эти слова разъярили их еще более.

«– Ты умрешь! Ты умрешь! – ревели они.

«А лес всё гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они – как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего

огня... А они, увидав это, подумали, что он расвирипел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.

«А лес всё пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь...

«— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко.

«И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

«— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

«Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко всё был впереди, и сердце его всё пылало, пылало!

«И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что была горячей струей из разорванной груди Данко.

«Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер.

«Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»

— Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал:

«Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти?» И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд.

Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей всё крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу всё ползли тучи, медленно, скучно... Море шумело глухо и печально.

Челкаш

Потемневшее от пыли голубое южное небо – мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, паровых винтов, острыми киями турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропшут, вспененные, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки паровых судов, то пронзительно резкие, то глухо ревушие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат – все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, – к ним вздымаются с земли всё новые и новые волны звуков – то глухие, рокошующие, они сурово сотрясают всё кругом, то резкие, гремящие, – рвут пыльный знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди – всё дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, горами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-паровозы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, – машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, – в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум – подавлял, пыль, раздражая ноздри, – слепила глаза, зной – пек тело и изнурял его, и все кругом казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это – наступило время обеда.

I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговки разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках, – появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без

шапки, в грязной ситцевой рубаше с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным черным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

– Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.

– Ну? – спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.

– Чего – ну? Ищут, мол. Больше ничего.

– Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать?

И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пакгауз Добровольного флота.

– Пошел к черту!

Товарищ повернул назад.

– Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?

– Давно не видал! – крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

– Стой! Куда идешь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, тарщило глаза и было очень смешно.

– Сказано тебе – в гавань не смей ходить, ребра изломаю! А ты опять? – грозно кричал сторож.

– Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не видались, – спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

– Хоть бы век тебя не видеть! Иди, иди!..

Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.

– Вот что скажи, – продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и приятельски-фамильярно потряхивая ее, – ты Мишку не видал?

– Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...

– Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», – стоял на своем Челкаш.

– С которым воруешь вместе, вот как скажи! В больницу его свезли. Мишку твоего, ногу отдавило чугунной штыкой. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу!..

– Ага, ишь ты! а ты говоришь – не знаю Мишки... Знаешь вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч?..

– Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!..

Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

– Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдосталь и уйду. Ну, рассказывай, как живешь?.. жена, детки – здоровы? – И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: – В гости к тебе собираюсь, да все времени нет – пью все вот...

– Ну, ну, – ты это брось! Ты, – не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

– Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семеныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

– Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! – крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

– Я – босый, так вот Семеныч следит, как бы мне ногу не напороть, – ответил Челкаш.

Подожли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль...

В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки... Вспомнился товарищ, Мишка, – он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядинной рубаше, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русский, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» – и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

– Что, брат, погулял, видно, здорово!.. – обратился он к Челкашу, дернув его штанину.

– Было дело, сосунок, было этакое дело! – улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. – С косовицы, что ли?

– Как же!.. Косили версту – выкосили грош. Плохи дела-то! Нар-роду – уйма! Голодающий этот самый приплелся, – цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

– Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского человека там трёшну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу – русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и – получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.

– Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет, ей-богу, раньше там...

– Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...

– Поди ты!.. – махнул рукой парень. – Сапожник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

– Я-то? – переспросил Челкаш и, подумав, сказал: – Рыбак я...

– Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

– Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якоря, потонувшие суда – все! Удочки такие есть для этого...

– Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидывали сети
По сухим берегам
Да по амбарам, по клетям!..

– А ты видал таких? – спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

– Нет, видать где же! Слышал...

– Нравятся?

– Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...

– А что тебе – свобода?.. Ты разве любишь свободу?

– Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел – куда хошь, делай – что хошь... Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, – первое дело! Гуляй знай, как хошь, бога только помни...

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

– Сейчас вот мое дело... – говорит тот. – Отец у меня – умер, хозяйство – малое, мать-старуха, земля высосана, – что я должен делать? Жить – надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятя в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь – тесть-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Года! – Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заработать, сейчас бы я на ноги встал и – Антипу-то – накося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе... Н-да! – Парень вздохнул. – А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятя идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублей два ста тяпну, – шабаш! барин!.. Ан не выгорело. Ну и пойдешь в батраки... Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком разе! Эхе-хе!..

Парню сильно не хотелось идти в зятя. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле.

Челкаш спросил:

– Теперь куда ж ты?

– Да ведь – куда? известно, домой.

– Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался...

– В Ту-урцию!.. – протянул парень. – Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже!..

– Экой ты дурак! – вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил...

Смутно, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босяка косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усаатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

– Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? – начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

– Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

– Чего работать? – недоверчиво спросил парень.

– Ну, чего!.. Чего заставляю... Рыбу ловить поедем. Грести будешь...

– Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист... темен ты...

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

– А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет...

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый, жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

– Ну? – сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятя зажиточный мужик, – за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина.

– Ведь я... не прочь... – заговорил он. – Работы ведь и ищу. Мне все равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, – больно уж тово... драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да еще не таких, как ты.

– Ну, ладно, ладно! Согласен? – уже мягче переспросил Челкаш.

– Я-то? Айда!.. с моим удовольствием! Говори цену.

– Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

– Это мне не рука, брат!

Челкаш вошел в роль:

– Не толкуй, погоди! Идем в трактир!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш – с важной миной хозяина, покручивая усы, парень – с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни.

– А как тебя звать? – спросил Челкаш.

– Гаврилом! – ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегдатая заказал бутылку водки, шей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику:

«В долг все!», на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважения к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

– Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нем было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные...

Гавриле стало жутко. Ему хотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру...

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который – славный человек! – так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

– Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работать-то будешь?..

– Друг!.. – лепетал Гаврила. – Не бойсь! Я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..

– Ну, ну!.. На, еще клюкни!

Гаврила пил и дошел наконец до того, что у него в глазах все стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал, Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

– Ну-ка, идем! – сказал Челкаш, вставая. Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

– Развезло! – молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьих лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так и этак. Он мог разломать ее,

как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьет такой чаши, какую судьба дала испить ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно – нечто отеческое и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

II

– Ну, готов? – вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами.

– Сейчас! Уключина вот шатается – можно разок вдарить веслом?

– Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов, о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

– Едем! – сказал Гаврила, спуская весла в воду.

– Есть! – Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, – длинная лента его, мягко сверкая, виляла за кормой.

– Ну, что голова? болит? – ласково спросил Челкаш.

– Страсть!.. как чугун гудит... Намочу ее водой сейчас.

– Зачем? Ты, на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься, – и он протянул Гавриле бутылку.

– Ой ли? Господи благослови!.. Послышалось тихое бульканье.

– Эй ты! рад?.. Будет! – остановил его Челкаш. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов... Вдруг она вырвалась из их толпы, и море – бесконечное, могучее – развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков – лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды, и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно взползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блеснуть над сонным морем миллионами своих золотых очей – разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

– Хорошо море? – спросил Челкаш.

– Ничего! Только боязно в нем, – ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел и все блестела теплым голубым светом фосфора.

– Боязно! Экая дура!.. – насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайней, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство, – охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют – первые – остроту, вторая – цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты...

– А снасть-то где? – вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку. Челкаш вздрогнул.

– Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:

– Ты вот что – сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа не суй. Наняли тебя грести, и греби. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье.

– Греби!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая волну.

– Ровней!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшись, наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками.

– Кто кричит? – раздался с моря суровый окрик.

– Ну, дьявол, греби же!.. Тише!.. убью, собаку!.. Ну же, греби!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!.. – шипел Челкаш.

– Богородице... дево... – шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

– Эй! кто орет? – донеслось снова. Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

– Сам ты и орешь! – сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву:

– Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами – конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу – к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился:

– Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я

в таких делах... Первый раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...

– Какие дела? – сурово спросил Челкаш. – А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы, и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

– Темные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я тебе?.. а?.. Милый...

– Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? – ну и молчи!

– Господи! – вздохнул Гаврила.

– Ну-ну!.. куксись у меня! – оборвал его Челкаш.

Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами.

– Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем – молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

– Эхма!.. – безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: – Судьбина моя пропащая!

– Не ной! – внушительно шепнул Челкаш.

Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

– Стой! – шепнул Челкаш. – Бросай весла! Упирайся руками в стену! Тише, черт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наросшей на камне слизи.

– Стой! Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь – на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, – какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашом: он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки...

А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, медлен-

нее, чем ползли тучи по небу... И тишина, от времени, становилась все зловещей... Но вот за стеной мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шепот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет..

– Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. – раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

– Устал? – спросил он.

– Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там – получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?

– Н-нету! – Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, исподлюбья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

– Эй! – усмехаясь, тихо заговорил он. – Что, здорово ты перепугался? а?

– Н-ничего!.. – выдохнул Гаврила и крикнул.

– Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти... Отдохни-ка.

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду.

– Ну, гребни тише. Чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише... А то, брат, тут народы серьезные... Как раз из ружья пошालить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море – тучи расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

– Эх, кабы дождь пошел! – прошептал Челкаш. – Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания – баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, глядя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то.

– Кордоны!.. – чуть слышно шепнул Челкаш.

С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет, – кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряженного рассматриванья тьмы, из которой – он ждал – вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, воры!..»

Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам, – он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот, – но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

...Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой, голубой полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем, – поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх воды... Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

– Дурак, это крейсер таможенный... Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, черт, и себя и меня! Ну...

И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку.

– Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, черт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!.. Фонарь – только и всего. Тише веслами!.. Кислый черт!.. За контрабандой это следят. Нас не заденут – далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы... – Челкаш торжествующе оглянулся кругом. – Кончено, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоеросовая!..

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нем – он был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали, наконец, из него все человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу.

– Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь, тебя как – точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему. Эй!..

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

– Я слышу, – тихо сказал он.

– То-то! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я – на весла, устал, поди!

Гаврила машинально переменил место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

– Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

– Мне – ничего не надо. Только на берег бы...

Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, – и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

– Ну, скажи мне, – заговорил Челкаш, – придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом смаку?

– Какой уж смак! – робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

– Правее держи! – сказал Челкаш. – Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работка важная! Вот видишь как?.. Ночь одна – и полтысячи я тяпнул!

– Полтысячи?! – недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: – А это что же будет за вещь?

– Это – дорогая вещь. Всё-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?

– Н-да-а?.. – вопросительно протянул Гаврила. – Кабы мне так-то вот! – вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, чермухи... – Эх, важно бы!.. – грустно вздохнул он.

– Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгрозил – ну, для дома денег, положим, маловато...

– Это верно... для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

– Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

– Лошадь? Она и есть, да больно стара, черт.

– Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... Птицы разной... А?

– Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы!

– Н-да, брат, житышко было бы ничего себе... Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо... Отец-то был из первых богатеев в селе...

Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, – он посте-

пенно увлекся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

– Главное в крестьянской жизни – это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом – грош ему цена, да он твой. У тебя земля своя – и того ее горсть, да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать уважения к себе... Так ли? – воодушевленно закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание.

– Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие – самолюбие бесшабашного удалыца – бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

– Замолот!.. – сказал он свирепо, – ты, может, думал, что я все это всерьез... Держи карман шире!

– Да чудак-человек!.. – снова оробел Гаврила. – Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты, – много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающихся...

– Садись, тюлень, в весла! – кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменились местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плившей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца – рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем... Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда...

Челкаш чувствовал себя овеванным примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.

– Эй! а куда же мы едем? – спросил вдруг Гаврила.

Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

– Ишь, черт занес!.. Гребни-ка погуще...

– Задумался? – улыбаясь, спросил Гаврила.

– Устал...

- Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? – Гаврила ткнул ногой в тюки.
- Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу... Н-да!
- Пять сотен!
- Не меньше.
- Это тово – сумма! Кабы мне, горюню!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..
- По крестьянству?
- Никак больше! Сейчас бы...

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стушеванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высывавшемуся из воды.

Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

– Стой! Тише! – скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

– Спят, что ли, черти?.. – ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. – Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

– Селкаш это? – раздалось сверху ласковое мурлыканье.

– Ну, спускай трап!

– Калимера, Селкаш!

– Спускай трап, копченный дьявол! – взревел Челкаш.

– О, сердитый пришел сегодня... Элоу!

– Лезь, Гаврила! – обратился Челкаш к товарищу. В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

– Припаси к утру деньги, – коротко сказал ему Челкаш. – А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь?

– Спать бы... – ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

III

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

– Эй, теленок, вставай!.. – толкнул он ногой Гаврилу.

Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

– Ишь ты какой!.. – широко улыбнулся наконец Гаврила. – Баринот стал!

– У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

– Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

– Ну, а еще раз поехал бы? а?

– Еще?.. Да ведь это – как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

– Ну ежели бы две радужных?

– Два ста рублей, значит? Ничего... Это можно...

– Стой! А как душу-то загубишь?..

– Да ведь, может... и не загубишь! – улыбнулся Гаврила. – Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься.

Челкаш весело хохотал.

– Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег...

И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые, соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, украшенных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево – целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокошующий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга...

– Эх, разыграется к вечеру-то добре! – кивнул Челкаш головой на море.

– Буря? – спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

– Эге!.. – подтвердил Челкаш.

Гаврила пытливо посмотрел на него...

– Ну, сколько ж тебе дали? – спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.

– Вот! – сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана.

Гаврила увидал пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

– Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это – сколько?

– Пятьсот сорок!

– Л-ловко!.. – прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. – Э-эх-ма!.. Кабы этикие деньги!.. – И он угнетенно вздохнул.

– Гульнем мы с тобой, парнюга! – с восхищением вскрикнул Челкаш. – Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделию... Сорок отделию! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

– Коли не обидно тебе – что же? Я приму!

Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

– Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурился, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

– А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... – задумчиво сказал Челкаш.

– Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. – воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сошуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

– Приехали! – прервал он речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

– Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой – прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

– Нет... я... не пойду... я... – Гаврила задышался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

– Что это тебя корчит? – спросил он.

– Так... – Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

– Ну ты к черту! – махнул рукой Челкаш. – Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!.. Али расставанье со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

– Уходишь?! – звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы:

– Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе? Ведь в одну ночь – только в ночь... А мне – года нужны... Дай – молиться за тебя буду! Вечно – в трех церквах – о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы – в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна – и богат! Сделай доброе дело! Пропавший ведь ты... Нет тебе пути... А я бы – ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

– На! Жри... – крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

– Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь – нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаете!..

– Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!.. – визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. – Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене и детям закажу – молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он – вор, гуляка, оторванный от всего родного – никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

– Осчастливил ты меня! – кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изливался:

– Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его – тебя – веслом... рраз!.. денежки – себе, его – в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться – как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

– Дай сюда деньги!.. – рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся раз, два, – другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи – и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

– Что, счастлив ты? – сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

– Рраз!..

Челкаш крикнул, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, избегая на песок, сливаясь с него и снова избегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды – сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в теплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

– Брат, встань-кося! – шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

– Поди прочь!..

– Брат! Прости!.. дьявол это меня... – дрожа шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

– Иди... Ступай... – хрипел тот.

– Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

– Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу! – вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. – Чего тебе еще? Сделал свое дело... иди! Пошел! – и он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

– Тьфу! – плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

– Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

– Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. – презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. – Деньги взял? – сквозь зубы процедил он.

– Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!..

Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

– Возьми и ступай!

– Не возьму, брат... Не могу! Прости!

– Бери, говорю!.. – взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

– Прости!.. Тогда возьму... – робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

– Врешь, возьмешь, гнус! – уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

– Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

– Брат! а простишь меня? Не хошь? а? – слезливо спросил он.

– Родимой!.. – в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь. – За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

– Эх, брат, брат!.. – скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно. Два человека помолчали.

– Ну, прощай! – насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

– Прости, брат!.. – еще раз попросил Гаврила.

– Ничего! – холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек воду и землю... ветер ревел... Все кругом наполнялось воем, ревом, гулом... За дождем не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.

Коновалов

Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фамилию – Коновалов и, заинтересованный ею, прочитал следующее:

«Вчера ночью, в 3-й камере местного тюремного замка, повесился на отдушине печи мещанин города Муромы Александр Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество и пересылался этапным порядком на родину. По отзыву тюремного начальства, это был человек всегда тихий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, следует считать меланхолию».

Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что мне, может быть, удастся несколько яснее осветить причину, побудившую этого задумчивого человека уйти из жизни, – я знал его. Пожалуй, я даже и не вправе промолчать о нем: это был славный малый, а их не часто встречаешь на жизненном пути.

...Мне было восемнадцать лет, когда я встретил Коновалова. В то время я работал в хлебопекарне как «подручный» пекаря. Пекарь был солдат из «музыкальной команды», он страшно пил водку, часто портил тесто и, пьяный, любил наигрывать на губах и выбивать пальцами на чем попало различные пьесы. Когда хозяин пекарни делал ему внушения за испорченный или опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина беспощадно и при этом всегда указывал ему на свой музыкальный талант.

– Передержал тесто! – кричал он, оттопыривая свои рыжие длинные усы, шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми. – Корка сгорела! Хлеб сырой! Ах ты, черт тебя возьми, косоглазая кикимора! Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты анафема с твоей работой, я – музыкант! Понял? Я – бывало, альт запьет – на альте играю; гобой под арестом – в гобой дую; корнет-а-пистон хворает – кто его может заменить? Я! Тим-тар-рам-да-дди! А ты – м-мужик, кацап! Давай расчет.

А хозяин, сырой и пухлый человек, с разноцветными глазами и женоподобным лицом, колыхая животом, топал по полу короткими толстыми ногами и визгливым голосом вопил:

– Губитель! Разоритель! Христопродавец Иуда! – Растопырив короткие пальцы, он воздевал руки к небу и вдруг громко, голосом, резавшим уши, возглашал: – А ежели я тебя за бунт в полицию?

– Слугу царя и отечества в полицию? – ревел солдат и уже лез на хозяина с кулаками. Тот уходил, отплеываясь и взволнованно сопя. Это всё, что он мог сделать, – было лето, время, когда в приволжском городе трудно найти хорошего пекаря.

Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдат пил, портил тесто и играл разные марши и вальсы или «нумера», как он говорил, хозяин скрежетал зубами, а мне в силу этого приходилось работать за двоих.

И я был весьма обрадован, когда однажды между хозяином и солдатом разыгралась такая сцена.

– Ну, солдат, – сказал хозяин, появляясь в пекарне с лицом сияющим и довольным и с глазками, сверкавшими ехидной улыбкой, – ну, солдат, оттопыривай губы и играй походный марш!

– Чего еще?! – мрачно сказал солдат, лежавший на ларе с тестом и, по обыкновению, полупьяный.

– В поход собирайся! – ликовал хозяин.

– Куда? – спросил солдат, спуская с ларя ноги и чувствуя что-то недоброе.

– Куда хочешь...

– Это как понимать? – запальчиво крикнул солдат.

– А так и понимай, что больше я тебя держать не стану. Получи расчет и на все четыре стороны – марш!

Солдат привык чувствовать свою силу и безвыходность положения хозяина, заявление последнего несколько отрезвило его: он понимал, как трудно ему с его плохим знанием ремесла найти себе место.

– Ну, это ты врешь!.. – с тревогой сказал он, вставая на ноги.

– Иди-ка, иди...

– Идти?

– Проваливай.

– Нароботался, значит... – с горечью мотнул головой солдат. – Пососал ты из меня крови, высосал и вон меня. Ловко! Ах ты – паук!

– Я паук? – вскипел хозяин.

– Ты! кровососец паук – вот как! – убедительно сказал солдат и, пошатываясь, пошел к двери.

Хозяин ехидно смеялся вслед ему, и его глазки радостно сверкали.

– Поди-ка вот теперь поступи на место к кому-нибудь! Н-да. Я тебя, голубчика, везде так разрисовал, что, хоть ты даром просись, – не возьмут! Нигде не возьмут...

– Нового наняли? – спросил я.

– Новый-то – он старый. Моим подручным был. Ах, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница, и-их! Только он запоем тянет... Вот он придет, возьмется за работу и месяца три-четыре учнет ломить, как медведь! Сна, покоя не знает, за ценой не стоит. Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, что даже слушать невозможно – тягостно делается на сердце. Поет, поет, потом учнет снова пить!

Хозяин вздохнул и безнадежно махнул рукой.

– И когда он запьет – нет ему тут никакого удержу. Пьет до тех пор, пока не захворает или не пропьется догола... Тогда стыдно ему бывает, что ли, он пропадает куда-то, как нечистый дух от ладана. А вот и он... Совсем пришел. Лё са?

– Совсем, – отвечал с порога глубокий, грудной голос.

Там, прислонясь плечом к косяку двери, стоял высокий плечистый мужчина лет тридцати. По костюму это был типичный босьяк, по лицу – настоящий славянин. На нем красная кумачовая рубаха, невероятно грязная и рваная, холщовые широкие шаровары, на одной ноге остатки резинового ботика, на другой – кожаный опорок. Светло-русые волосы на голове были спутаны, и в них торчали щепочки, соломинки; всё это было и в его русой бороде, точно веером закрывавшей ему грудь. Продолговатое, бледное, изнуренное лицо освещалось большими голубыми глазами, они смотрели ласково. Губы его, красивые, но немного бледные, тоже улыбались под русыми усами. Улыбка была такая, точно он хотел сказать виновато:

«Вот я какой... Не обессудьте».

– Проходи, Сашок, вот тебе подручный, – говорил хозяин, потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру нового пекаря. Тот молча шагнул вперед, протянул мне длинную руку с богатырски широкой кистью; мы поздоровались; он сел на скамью, вытянул вперед ноги, посмотрел на них и сказал хозяину:

– Ты мне, Василий Семеныч, купи две смены рубаш да опорки... Холста на колпак.

– Всё будет, не бойсь! Колпаки у меня есть; рубашки и порты вечером будут. Знай работай пока что; я тебя знаю, кто ты есть. Не обижу... Коновалова никто не обидит, потому – он сам никого не обижает. Разве хозяин – зверь? Я сам тоже работал, знаю, как редька слезы выжимает... Ну, оставайтесь, значит, ребяташки, а я пойду...

Мы остались одни.

Коновалов сидел на скамье и молча, улыбаясь, осматривался вокруг. Пекарня помещалась в подвале со сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня земли. Света мало, мало

и воздуха, но зато много сырости, грязи и мучной пыли. У стен стояли длинные лари: один с тестом, другой еще только с опарой, третий пустой. На каждый ларь ложилась из окна тусклая полоса света. Громадная печь занимала почти треть пекарни; около нее на грязном полу лежали мешки муки. В печи жарко горели длинные плахи дров, и отраженное на серой стене пекарни пламя их колебалось и дрожало, точно беззвучно рассказывало о чем-то.

Сводчатый закопченный потолок давил своей тяжестью, от соединения дневного света с огнем печи образовалось неопределенное и утомлявшее глаза освещение.

В окна с улицы лился глухой шум и летела пыль. Коновалов осмотрел всё это, вздохнул и спросил скучным голосом:

– Давно здесь работаешь?

Я сказал. Помолчали, исподлобья осматривая друг друга.

– Экая тюрьма! – вздохнул он. – Пойдем на улицу к воротам, посидим?..

Мы вышли к воротам и сели на лавку.

– Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу не привыкну, – не могу. Сам посуди, от моря я пришел... в Каспии на ватагах работал... и вдруг сразу с широты такой – бух в яму!

Он с печальной улыбкой посмотрел на меня и замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в проезжих. В его голубых, ясных глазах светилась печаль... Вечер наступал; на улице было душно, шумно, пыльно, от домов на дорогу ложились тени. Коновалов сидел, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я сбоку смотрел на его овальное бледное лицо и думал: «Что это за человек?» Но не решался заговорить с ним, потому что он был моим начальником и потому еще, что он внушал мне странное уважение.

Лоб у него был разрезан тремя тонкими морщинками, но по временам они разглаживались и исчезали, и мне очень хотелось знать, о чем думает этот человек...

– Пойдем-ка, пора. Ты меси вторую, а я тем временем поставлю третью.

Развесив одну гору теста, замесив другую, мы сели пить чай; Коновалов сунул руку за пазуху и спросил меня:

– Ты читать умеешь? На-ка вот, почитай, – и подал мне смятый, запачканный листик бумаги.

«Дорогой Саша!– читал я. – Кланяюсь и целую тебя заочно. Плохо мне и очень скучно живется, не могу дождаться того дня, когда я уеду с тобой или буду жить вместе с тобой; надоела мне эта жизнь проклятая невозможно, хотя вначале и нравилась. Ты сам это хорошо понимаешь, я тоже стала понимать, как познакомилась с тобой. Напиши мне, пожалуйста, поскорее; очень мне хочется получить от тебя письмецо. А пока до свиданья, а не прощай, мой милый, бородатый друг моей души. Упреков я тебе никаких не пишу, хоша я тобой и разогорчена, потому что ты свинья – уехал, со мной не простился. Но всё же ничего я от тебя, кроме хорошего, не видела: ты был один еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя ли постараться, Саша, о моей выключке? Тебе девицы говорили, что я убегу от тебя, если буду выключена; но это всё вздор и чистая неправда. Если бы ты только сжалился надо мной, то я после выключки стала бы с тобой, как собака твоя. Тебе ведь легко это сделать, а мне очень трудно. Когда ты был у меня, я плакала, что принуждена так жить, хотя я тебе этого не сказала. До свиданья.

Твоя Капитолина».

Коновалов взял у меня письмо и задумчиво стал вертеть его между пальцами одной руки, другую покручивая бороду.

– А писать ты умеешь?

– Могу...

– А чернила у тебя есть?

– Есть.

– Напиши ты ей письмо, а? Она, чай, поди, мерзавцем меня считает, думает – я про нее забыл... Напиши!

– Изволь. Она кто?..

– Проститутка... Видишь – о выключке пишет. Это значит, чтобы я полиции дал обещание, что женюсь на ней, тогда ей возвратят паспорт, а книжку у нее отберут, и будет она с той поры свободная! Вник?

Через полчаса готово было трогательное послание к ней.

– Ну-ка почитай, как оно вышло? – с нетерпением спросил Коновалов.

Вышло вот как:

*«Капа! Не думай про меня, что я подлец и забыл о тебе. Нет, я не забыл, а просто запил и весь пропился. Теперь снова поступил на место, завтра возьму у хозяина денег вперед, вышлю их на Филиппа, и он тебя выключит. Денег тебе на дорогу хватит. А пока – до свиданья.
Твой Александр».*

– Гм... – сказал Коновалов, почесав голову, – а пишешь ты неважно. Жалости нет в письме у тебя, слезы нет. И опять же – я просил тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написал...

– Да зачем это?

– А чтобы она видела, что мне перед ней стыдно и что я понимаю, как я перед ней виноват. А так что! Точно горох просыпал – написал! А ты слезу подпусти!

Пришлось подпустить в письмо слезу, что я с успехом и выполнил. Коновалов удовлетворился и, положив мне руку на плечо, душевно проговорил:

– Вот теперь славно! Спасибо! Ты парень, видно, хороший, – мы с тобой уживемся.

Я не сомневался в этом и попросил его рассказать мне о Капитолине.

– Капитолина? Девочка она, – совсем дитя. Вятская, купеческая дочь была... Да вот свихнулась. Дальше – больше, и пошла в публичный дом... Я – смотрю, ребенок совсем! Господи, думаю, разве так можно? Ну, и познакомился с ней. Она – плакать. Я говорю: «Ничего, потерпи! Я те отсюда вытащу – погоди!» И всё у меня было готово, деньги и всё... И вдруг я запил и очутился в Астрахани. Потом вот сюда попал. Известил ее обо мне один человек, и она написала мне письмо.

– Что же ты, – спросил я его, – жениться хочешь на ней?

– Жениться, где мне! Ежели у меня запой – какой же я жених? Нет, так я это. Выключу ее – и потом иди на все четыре стороны. Место себе найдет – может, человеком будет.

– Она с тобой хочет жить...

– Да ведь это она блажит только. Они все такие... бабы... Я их очень хорошо знаю. У меня много было разных. Даже купчиха одна... Конюхом я был в цирке, она меня и выглядела. «Иди, говорит, в кучера». Мне цирк в ту пору надоел, я и согласился, пошел. Ну и того... Стала она ко мне ластиться. Дом это у них, лошади, прислуга – как дворяне жили. Муж у нее был низенький и толстый, на манер нашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, как кошка, горячая. Бывало, как обнимет да поцелует в губы – как углей каленых в сердце всыплет. Так ты весь и задрожешь, даже страшно станет. Целует, бывало, а сама всё плачет: плечи у нее даже ходуном ходят. Спрошу ее: «Чего ты, Верунька?» А она: «Ребёнок, говорит, ты, Саша; не понимаешь ты ничего». Славная была... А это она верно, что я не понимаю-то ничего, – очень я дураковат, сам знаю. Что делаю – не понимаю. Как живу – не думаю!

И, замолчав, он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами; в них светился не то испуг, не то вопрос, что-то тревожное, от чего красивое лицо его стало еще печальнее и краше...

– Ну, и как же ты с купчихой-то кончил? – спросил я.

– А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И всё мне в ту пору противеет – и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они – не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал... Так вот, я и говорю ей: «Вера Михайловна! отпусти меня, больше я не могу!» – «Что, говорит, надоела я тебе?» И смеется, знаешь, да таково нехорошо смеется. «Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я себе не под силу стал». Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться... Потом поняла. Опустила голову и говорит: «Что же, иди!..» Заплакала. Глаза у нее черные. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческого рода была, а из чиновных... Н-да... Жалко мне ее было, и противен я был сам себе тогда. Ей, конечно, скучно было с этим-то мужем. Он совсем как мешок муки... Плакала она долго – привыкла ко мне... Я ее очень нежил: возьму, бывало, на руки и качаю. Она спит, а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек очень хорош бывает, такой простой; дышит да улыбается, и больше ничего. А то – на даче когда жили, – бывало, поедем с ней кататься – во весь дух она любила. Приедем, куда ни то в уголок в лесу лошадь привяжем, а сами в холодок на траву. Она велит мне лечь, положит мою голову себе на колени и читает мне какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю да и засну. Хорошие истории читала, очень хорошие. Никогда я не забуду одной – о немом Герасиме и его собаке. Он, немой-то, гонимый человек был, и никто его, кроме собаки, не любил. Смеются над ним и всё такое, он сейчас к собаке идет... Очень это жалостная история... А дело-то было в крепостное время... Барыня и говорит ему; «Немой, иди утопи свою собаку, а то она воет». Ну, немой пошел... Взял лодку, посадил в нее собаку и поехал... Я, бывало, в этом месте дрожью дрожу. Господи! У живого человека единственную в свете радость его убивают! Какие это порядки? Удивительная история! И верно – вот что хорошо! Бывают такие люди, что для них весь свет в одном в чем-нибудь – в собаке, к примеру. А почему в собаке? Потому больше никого нет, кто бы любил такого человека, а собака его любит. Без любви какой-нибудь – жить человеку невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог любить... Много она мне разных историй читала. Славная была женщина, и посейчас жалко мне ее... Кабы не моя планета – не ушел бы я от нее, пока она сама того не захотела бы или муж не узнал про наши с ней дела. Ласковая она была – вот что первое, не тем ласковая, что подарки дарила, а так – по сердцу своему ласковая. Целуется она со мной и всё такое – женщина как женщина... а найдет, бывало, на нее этакий тихий стих... удивительно даже, до чего она тогда хороший человек была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает, как нянька или мать. Я в такие времена, бывало, прямо как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки ушел от нее – тоска! Тянет меня куда-то... «Прощай, говорю, Вера Михайловна, прости меня». – «Прощай, говорит, Саша». И – чудная – обнажила мне руку по локоть да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал! Так целый кусок и выхватила почти... недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел.

Обнажив мускулистую руку, белую и красивую, он показал мне ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На коже руки около локтевого сгиба был ясно виден шрам – два полукруга, почти соединявшиеся концами. Коновалов смотрел на них и, улыбаясь, качал головой.

– Чудачка! Это она на память куснула.

Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого босняка есть в прошлом «купчиха» или «одна барыня из благородных», и у всех босяков эта купчиха и барыня от бесчисленных вариаций в рассказах о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя в себе самые противоположные физические и психические черты. Если она сегодня

голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что чрез неделю вы услышите о ней как о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босяк рассказывает о ней в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее.

Но в истории, рассказанной Коноваловым, звучало что-то правдивое, в ней были незнакомые мне черты – чтения книжек, эпитет ребенка в приложении к мощной фигуре Коновалова...

Я представил себе гибкую женщину, спящую у него на руках, прильнув головой к широкой груди, – это было красиво и еще более убедило меня в правде его рассказа. Наконец, его печальный и мягкий тон при воспоминании о «купчихе» – тон исключительный. Истинный босяк никогда не говорит таким тоном ни о женщинах, ни о чем другом – он любит показать, что для него на земле нет такой вещи, которую он не посмел бы обругать.

– Ты чего молчишь, думаешь, я наврал? – спросил Коновалов, и в голосе его звучала тревога. Он сидел на мешках с мукой, держа в одной руке стакан чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотрели на меня пытливо и вопросительно, морщинки на лбу легли резко...

– Нет, ты верь... Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер... Нельзя, друг: если у человека в жизни не было ничего хорошего, – он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую ни то сказку да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и было, – верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь... Но я тебе рассказал правду, – так оно и было. Разве тут что особенное есть? Женщина живет, и ей скучно. Положим, я кучер, но женщине это всё равно, потому что и кучер, и барин, и офицер – все мужчины... И все перед ней свиньи, все одного и того же ищут, и каждый норовит, чтобы побольше взять, да поменьше заплатить. Простой-то человек совестливее. А я очень простой... Женщины это хорошо во мне понимают – видят, что не обижу, не насмеюсь над ней. Женщина – она согрешит и ничего так не боится, как смеха, издевки над ней. Они стыдливее против нас. Мы свое возьмем и хоть на базар пойдем рассказывать, хвастаться станем – вот, мол, как мы одну дуру провели!.. А женщине некуда идти, ей греха в удаль никто не ставит. Они, брат, даже самые потерянные, и те стыда больше нас имеют.

Я слушал его и думал: «Неужели этот человек верен сам себе, говоря все эти не подobaющие ему речи?»

А он, задумчиво уставив на меня свои детски ясные глаза, всё более удивлял меня своими речами.

Дрова в печи сгорели, яркая груда углей отбросила от себя на стену пекарни розоватое пятно...

В окно смотрел кусочек голубого неба с двумя звездами на нем. Одна из них – большая – блестела изумрудом, другая, неподалеку от нее, – едва видна.

Прошла неделя, и мы с Коноваловым были друзьями.

– Ты простой парень! Хорошо это! – говорил он мне, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу.

Работал он артистически. Нужно было видеть, как он управлялся с семипудовым куском теста, раскатывая его, или как, наклонившись над ларем, месил, по локоть погружая свои могучие руки в упругую массу, пищавшую в его стальных пальцах.

Сначала, видя, как он быстро мечет в печь сырые хлебы, которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату, – я боялся, что он насадит их друг на друга; но, когда он выпек три печи и ни у одного из ста двадцати караваев – пышных, румяных и высоких – не оказалось «притиска», я понял, что имею дело с артистом в своем роде. Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, и был по-детски весел и доволен, если хлебы из печи

выходили правильно круглые, высокие, «подъемистые», в меру румяные, с тонкой хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый удачный каравай и, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне:

– Эх, какого красавца мы с тобой сработали... И мне было приятно смотреть на <<этого гигантского>> ребенка, влагавшего всю душу в работу свою, – как это и следует делать каждому человеку во всякой работе...

Однажды я спросил его:

– Саша, говорят, ты поешь хорошо?

– Пою... Только это у меня разами бывает... полосой. Начну я тосковать, тогда и пою... И ежели петь начну – затоскую. Ты уж помалкивай об этом, не дразни. Ты сам-то не поешь? Ах ты, – штука какая! Ты лучше потерпи до меня... Потом оба запоем, вместе. Идет?

Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось петь. Но иногда прорывался и начинал мурлыкать себе под нос, меся тесто и катая хлебы. Коновалов слушал меня, шевелил губами и чрез некоторое время напоминал мне о моем обещании. А иногда грубо кричал на меня:

– Брось! Не стони!

Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и, примостившись к окну, стал читать.

Коновалов дремал, растянувшись на ларе с тестом, но шелест перевертываемых мною над его ухом страниц заставил его открыть глаза.

– Про что книжка?

Это были «Подлиповцы».

– Почитай вслух, а?.. – попросил он.

И вот я стал читать, сидя на подоконнике, а он уселся на ларе и, прислонив свою голову к моим коленям, слушал... Иногда я через книгу заглядывал в его лицо и встречался с его глазами, – у меня до сей поры они в памяти – широко открытые, напряженные, полные глубокого внимания... И рот его тоже был полуоткрыт, обнажая два ряда ровных белых зубов. Поднятые вверх брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, руки, которыми он охватил колени, – вся его неподвижная, внимательная поза подогревала меня, и я старался как можно внятнее и образнее рассказать ему грустную историю Сысойки и Пилы.

Наконец я устал и закрыл книгу.

– Всё уж? – шепотом спросил меня Коновалов.

– Меньше половины...

– Всю вслух прочитаешь?

– Изволь.

– Эх! – Он схватил себя за голову и закачался, сидя на ларе. Ему что-то хотелось сказать, он открывал и закрывал рот, вздыхая, как мехи, и для чего-то защурил глаза. Я не ожидал такого эффекта и не понимал его значения.

– Как ты это читаешь! – шепотом заговорил он. – На разные голоса... Как живые все они... Апроська! Пила... дураки какие! Смешно мне было слушать... А дальше что? Куда они поедут? Господи боже! Ведь это всё правда. Ведь это как есть настоящие люди... всамделишные мужики... И совсем как живые и голоса и рожи... Слушай, Максим! Посадим печь – читай дальше!

Мы посадили печь, приготовили другую, и снова час и сорок минут я читал книгу. Потом опять пауза – печь испекла, вынули хлебы, посадили другие, замесили еще тесто, поставили еще опару... Всё это делалось с лихорадочной быстротой и почти молча.

Коновалов, нахмутив брови, изредка кратко бросал мне односложные приказания и торопился, торопился...

К утру мы кончили книгу, я чувствовал, что язык у меня одеревенел.

Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел мне в лицо странными глазами и молчал, упершись руками в колени...

– Хорошо? – спросил я.

Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шепотом заговорил:

– Кто же это сочинил? – В глазах его светилось неизъяснимое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чувством.

Я рассказал, кто написал книгу.

– Ну – человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За сердце берет – вот до чего живо. Что же он, сочинитель, что ему за это было?

– То есть как?

– Ну, например, дали ему награду или что там?

– А за что ему нужно дать награду? – спросил я.

– Как за что? Книга... вроде как бы акт полицейский. Сейчас ее читают... судят: Пила, Сысойка... какие же это люди? Жалко их станет всем... Народ темный. Какая у них жизнь? Ну, и...

– И – что?

Коновалов смущенно посмотрел на меня и робко заявил:

– Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди ведь, нужно их поддержать.

В ответ на это я прочитал ему целую лекцию... Но – увы! – она не произвела того впечатления, на которое я рассчитывал.

Коновалов задумался, поник головой, закачался всем корпусом и стал вздыхать, ни словом не мешая мне говорить. Я устал наконец, замолчал.

Коновалов поднял голову и грустно посмотрел на меня.

– Так ему, значит, ничего и не дали? – спросил он.

– Кому? – осведомился я, позабыв о Решетникове.

– Сочинителю-то?

Я не ответил ему, чувствуя раздражение против слушателя, очевидно, не считавшего себя в силах решать мировые вопросы.

Коновалов, не дожидаясь моего ответа, взял книгу в свои руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на место, глубоко вздохнул.

– Как всё это премудро, господи! – вполголоса заговорил он. – Написал человек книгу... бумага и на ней точки разные – вот и всё. Написал и... умер он?

– Умер, – сказал я.

– Умер, а книга осталась, и ее читают. Смотрит в нее человек глазами и говорит разные слова. А ты слушаешь и понимаешь: жили на свете люди – Пила, Сысойка, Апроська... И жалко тебе людей, хоть ты их никогда не видал и они тебе совсем – ничего! По улице они такие, может, десятками живые ходят, ты их видишь, а не знаешь про них ничего... и тебе нет до них дела... идут они и идут... А в книге тебе их жалко до того, что даже сердце щемит... Как это понимать?..

А сочинитель так без награды и умер? Ничего ему не было?

Я разозлился и рассказал ему о наградах сочинителям...

Коновалов слушал меня, испуганно тараща глаза, и соболезнующе чмокал губами.

– Порядки, – вздохнул он всей грудью и, закусив левый ус, грустно поник головой.

Тогда я начал говорить о роковой роли кабака в жизни русского литератора, о тех крупных и искренних талантах, что погибли от водки – единственной утехи их многотрудной жизни.

– Да разве такие люди пьют? – шепотом спросил меня Коновалов. В его широко открытых глазах сверкало и недоверие ко мне, испуг и жалость к тем людям. – Пьют! Что же они... после того, как напишут книги, запивают?

Это, по-моему, был неуместный вопрос, и я на него не ответил.

– Конечно, после, – решил Коновалов. – Живут люди и смотрят в жизнь, и вбирают в себя чужое горе жизни. Глаза у них, должно быть, особенные... И сердце тоже... Насмотрятся на

жизнь и затоскуют... И волюют тоску в книги... Это уж не помогает, потому – сердце тронуту, из него тоски огнем не выжжешь... Остается – водкой ее заливать. Ну и пьют... Так я говорю?

Я согласился с ним, и это как бы придало ему бодрости.

– Ну, и по всей правде, – продолжал он развивать психологию сочинителей, – следует их за это отличить. Верно ведь? Потому что они понимают больше других и указывают другим разные непорядки. Вот теперь я, например, – что такое? Босьяк, галах, пьяница и тронутый человек. Жизнь у меня без всякого оправдания. Зачем я живу на земле, и кому я на ней нужен, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей, и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу, тоскую... Зачем? Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет, – понимаешь? Как бы это сказать? Этакой искорки в душе нет... силы, что ли? Ну, нет во мне одной штуки – и всё тут! Понял? Вот я живу и эту штуку ищу и тоскую по ней, а что она такое есть – это мне неизвестно...

Он, держась рукой за голову, смотрел на меня, и на лице его отразилась работа мысли, ищущей для себя формы.

– Ну, и что же дальше? – допытывался я.

– Дальше?... Не могу я тебе рассказать... Но думаю так, что ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрелся ко мне, – мог бы он объяснить мне мою жизнь, а? Ты как думаешь?

Я думал, что и сам в состоянии объяснить ему его жизнь, и сразу же принял за это, на мой взгляд, легкое и ясное дело. Я начал говорить об условиях и среде, о неравенстве, о людях – жертвах жизни и о людях – владыках ее.

Коновалов слушал внимательно. Он сидел против меня, подперши щеку рукой, и его большие голубые глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные, постепенно заволакивались как бы легким туманом, на лбу всё резче ложились складки, он, кажется, удерживал дыхание, весь поглощенный желанием понять мои речи.

Мне льстило всё это. Я с жаром расписывал ему его жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он – печальная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем, что сказал:

– Тебе не в чем винить себя... Тебя обидели...

Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как в них зарождается хорошая, светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова.

Он ласково засмеялся и, мягким, женским движением потянувшись ко мне, положил мне руку на плечо.

– Как ты, брат, легко рассказываешь! Откуда только тебе все эти дела известны? Всё из книг? Много же ты читал их. Эх, ежели бы мне тоже почитать с эстоль!.. Но главная причина – очень ты жалостливо говоришь... Впервые мне такая речь. Удивительно! Все люди друг друга винят в своих бедах, а ты – всю жизнь, все порядки. Выходит, по-твоему, что человек-то сам по себе не виноват ни в чем, а написано ему на роду быть босьяком – потому он и босьяк. И насчет арестантов очень чудно: воруют потому, что работы нет, а есть надо... Как всё это жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, сердцем-то!..

– погоди, – сказал я, – ты согласен со мною? Верно я говорил?

– Тебе лучше знать, верно или нет, – ты грамотный... Оно, пожалуй, – ежели взять других, – так верно... А вот ежели я...

– То что?

– Ну, я – особливая статья... Кто виноват, что я пью? Павелка, брат мой, не пьет – в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю лучше его – однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети! Он еще моложе меня. Выходит – во мне самом что-то неладно... Не так я, значит, родился, как человеку следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые. А я на особой стезе... И не один я – много нас таких.

Особливые мы будем люди... ни в какой порядок не включаемся. Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы – чтобы нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы пред собой виноваты... Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем...

Он – этот большой человек с ясными глазами ребенка – с таким легким духом выделял себя из жизни в разряд людей, для нее ненужных и потому подлежащих искоренению, с такой смеющейся грустью, что я был положительно ошеломлен этим самоуничижением, до той поры еще невиданным мною у босяка, в массе своей существа от всего оторванного, всему враждебного и над всем готового испробовать силу своего озлобленного скептицизма. Я встречал только людей, которые всегда всё винили, на всё жаловались, упорно отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настойчивые доказательства личной непогрешимости, – они всегда сваливали свои неудачи на безмолвную судьбу, на злых людей... Коновалов судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем упорнее я старался доказать ему, что он «жертва среды и условий», тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности пред самим собою за свою печальную долю... Это было оригинально, но это бесило меня. А он испытывал удовольствие, бичуя себя; именно удовольствием блестели его глаза, когда он звучным баритоном кричал мне:

– Каждый человек сам себе хозяин, и никто в том не повинен, ежели я подлец!

В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом «интеллигент». Но в устах босяка, – хотя он тоже интеллигент среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полузверей, наполняющих грязные трущобы городов, – из уст босяка странно было слышать эти речи. Приходилось заключить, что Коновалов действительно – особая статья, но я не хотел этого.

С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золоторотцем; но чем больше я присматривался к нему, тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нарушавшей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые...

Мы с ним спорили всё жарче.

– Да погоди, – кричал я, – как может человек устоять на ногах, коли на него со всех сторон разная темная сила прет?

– Упрись крепче! – возглашал мой оппонент, горячася и сверкая глазами.

– Да во что упереться?

– Найди свою точку и упрись!

– А ты чего же не упирался?

– Вот я те и говорю, чудак-человек, что я сам виноват в моей доле!.. Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую – не нахожу!

Однако надо было позаботиться о хлебе, и мы принялись за работу, продолжая доказывать друг другу правильность своих воззрений. Конечно, ничего не доказали и, оба взволнованные, кончив работу, легли спать.

Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро заснул. Я лежал на мешках с мукой и сверху вниз смотрел на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогоже, брошенной около ларя. Пахло горячим хлебом, кислым тестом, уголекислотой... Светало, в стекла окон, покрытые пленкой мучной пыли, смотрело серое небо. Грохотала телега, пастух играл, собирая стадо.

Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его широкая грудь, и обдумывал разные способы наискорейшего обращения его в мою веру, но ничего не выдумал и заснул.

Понутру мы с ним встали, поставили опару, умылись и сели на ларе пить чай.

– Что, у тебя есть книжка? – спросил Коновалов.

– Есть.

– Почитаешь мне?

– Ладно...

– Вот хорошо! Знаешь что? Проживу я месяц, возьму у хозяина деньги и половину – тебе!

– На что?

– Купи книжек... Себе купи, которые по вкусу там, и мне купи – хоть две. Мне – которые про мужиков. Вот вроде Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь, с жалостью было написано, а не смеха ради... Есть иные – чепуха совсем! Панфилка и Филатка – даже с картинкой на первом месте – дурость. Пошехонцы, сказки разные. Не люблю я это. Я не знал, что есть этакие, вот как у тебя.

– Хочешь про Стеньку Разина?

– Про Стеньку? Хорошо?

– Очень хорошо...

– Тащи!

И вскоре я уже читал ему Костомарова: «Бунт Стеньки Разина». Сначала талантливая монография, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю.

– А почему тут разговоров нет? – спросил он, заглядывая в книгу. И, когда я объяснил – почему, он даже зевнул и хотел скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне:

– Читай – ничего! Это я так...

Но по мере того, как историк рисовал кистью художника фигуру Степана Тимофеевича и «князь волжской вольницы» вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался. Ранее скучный и равнодушный, с глазами, затуманенными ленивой дремотой, – он, постепенно и незаметно для меня, предстал предо мной в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, странно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он удивлял меня, и всё то простое, женственно мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам, – теперь потемневшим и суженным, – исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал.

– Читай, – тихо, но внушительно сказал он.

– Ты что?

– Читай! – повторил он, и в тоне его вместе с просьбой звучало раздражение.

Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел, что он всё более разгорается. От него исходило что-то возбуждавшее и опьянявшее меня – какой-то горячий туман. И вот я дошел до того, как поймали Стеньку.

– Поймали! – крикнул Коновалов.

Боль, обида, гнев звучали в этом возгласе. У него выступил пот на лбу и глаза странно расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, остановился против меня, положил мне руку на плечо и громко, торопливо заговорил:

– погоди! Не читай... Скажи, что теперь будет? Нет, стой, не говори! Казнят его? А? Читай скорей, Максим!

Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка – родной брат Разину. Казалось, что какие-то узлы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола.

– Да читай, Христа ради!

Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживая Стенькину тоску. И вот мы дошли до пыток.

Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой для того, чтобы отбросить их. Коновалов увидел это и положил мне на голову свою тяжелую ладонь.

«Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул их на пол...»

– Будет!.. К чёрту! – крикнул Коновалов и, вырвав у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опустился за ней.

Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны.

Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать ему в утешение.

– Максим! – говорил Коновалов, сидя на полу. – Страшно! Пила... Сысойка. А потом Стенька... а? Какая судьба!.. Зубы-то как он выплюнул!.. а?

И он весь вздрагивал.

Его особенно поразили выплюнутые Стенькой зубы, он то и дело, болезненно передергивая плечами, говорил о них.

Мы оба с ним были как пьяные под влиянием вставшей перед нами мучительной и жестокой картины пыток.

– Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь? – уговаривал меня Коновалов, подняв с полу книгу и подавая ее мне. – А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов?

Я показал ему, и он впился глазами в эти строки.

– Так и написано: «зубы свои выплюнул с кровью»? А буквы те же самые, как и все другие... Господи! Как ему больно-то было, а? Зубы даже... а в конце там что еще будет? Казнь? Ага! Слава те, господи, все-таки казнят человека!

Он выразил эту радость с такой страстью, с таким удовлетворением в глазах, что я вздрогнул от этого сострадания, так сильно желавшего смерти измученному Стеньке.

Весь этот день прошел у нас в странном тумане: мы всё говорили о Стеньке, вспоминая его жизнь, песни, сложенные о нем, его пытки. Раза два Коновалов запевал звучным баритоном песни и обрывал их.

Мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня.

Я еще несколько раз читал ему «Бунт Стеньки Разина», «Тараса Бульбу» и «Бедных людей». Тарас тоже очень понравился моему слушателю, но он не мог затемнить яркого впечатления от книги Костомарова. Макара Деушкина и Варю Коновалов не понимал. Ему казался только смешным язык писем Макара, а к Варе он относился скептически.

– Ишь ты, ластится к старику! Хитрая!.. А он – экое чучело! Однако брось ты, Максим, эту канитель! Чего тут? Он к ней, она к нему... Портили бумагу... ну их к свиньям на хутор! Не жалостно и не смешно: для чего писано?

Я напоминал ему подлиповцев, но он не соглашался со мной.

– Пила и Сысойка – это другая модель! Они люди живые, живут и бьются... а эти чего? Пишут письма... скучно! Это даже и не люди, а так себе, одна выдумка. Вот Тарас со Стенькой, ежели бы их рядом... Батюшки! Каких они делов натворили бы. Тогда и Пила с Сысойкой – взбодрились бы, чай?

Он плохо понимал время, и в его представлении все излюбленные им герои существовали вместе, только двое из них жили в Усолье, один в «хохлах», один на Волге... Мне с трудом удалось убедить его, что, если бы Сысойка и Пила «съехали» вниз по Каме, они со Стенькой не встретились бы, и если бы Стенька «дернул через донские казаки в хохлы», он не нашел бы там Бульбу.

Это огорчило Коновалова, когда он понял, в чем дело. Я попробовал угостить его пугачевским бунтом, желая посмотреть, как он отнесется к Емельке. Коновалов забраковал Пугачева.

– Ах, шельма клейменная, – ишь ты! Царским именем прикрылся и мутит... Сколько людей погубил, пес!.. Стенька? – это, брат, другое дело. А Пугач – гнида и больше ничего. Важное кушанье! Вот вроде Стеньки нет ли книжек? Поищи... А этого телячьего Макара брось – незанимательно. Уж лучше ты еще раз прочти, как казнили Степана...

В праздники мы с Коноваловым уходили за реку, в луга. Мы брали с собой немного водки, хлеба, книгу и с утра отправлялись «на вольный воздух», как называл Коновалов эти экскурсии.

Нам особенно нравилось бывать в «стеклянном заводе». Так почему-то называлось здание, стоявшее недалеко от города в поле. Это был трехэтажный каменный дом с провалившейся крышей, с изломанными рамами в окнах, с подвалами, всё лето полными жидкой пахучей грязи. Зеленовато-серый, полуразрушенный, как бы опустившийся, он смотрел с поля на город темными впадинами своих изуродованных окон и казался инвалидом-калекой, обиженным судьбой, изринутым из пределов города, жалким и умирающим. В половодье этот дом из года в год подмывала вода, но он, весь от крыши до основания покрытый зеленой коркой плесени, несокрушимо стоял, огражденный лужами от частых визитов полиции, – стоял и, хотя у него не было крыши, давал кров разным темным и бесприютным людям.

Их всегда было много в нем; оборванные, полуголодные, боящиеся солнечного света, они жили в этой развалине, как совы, и мы с Коноваловым были среди них желанными гостями, потому что и он и я, уходя из пекарни, брали по караваю белого хлеба, дорогой покупали четверть водки и целый лоток «горячего» – печенки, легкого, сердца, рубца. На два-три рубля мы устраивали очень сытное угощение «стеклянным людям», как их называл Коновалов.

Они платили нам за эти угощения рассказами, в которых ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась с самой наивной ложью. Каждый рассказ являлся пред нами кружевом, в котором преобладали черные нити – это была правда, и встречались нити ярких цветов – ложь. Такое кружево падало на мозг и сердце и больно давило и то и другое, сжимая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком. «Стеклянные люди» по-своему любили нас – я часто читал им разные книги, и почти всегда они внимательно и вдумчиво слушали мое чтение.

Знание жизни у них, вышвырнутых за борт ее, поражало меня своей глубиной, и я жадно слушал их рассказы, а Коновалов слушал их для того, чтобы возражать против философии рассказчика и втянуть меня в спор.

Выслушав историю жизни и падения, рассказанную каким-нибудь фантастически разодетым субъектом, с физиономией человека, которому никак уж нельзя положить пальца в рот, – выслушав такую историю, всегда носящую характер оправдательно-защитительной речи, Коновалов задумчиво улыбался и отрицательно покачивал головой. Это замечали.

– Не веришь, Лёса? – восклицал рассказчик.

– Нет, верю... Как можно не верить человеку! Даже и если видишь – врет он, верь ему, слушай и старайся понять: почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Верно?

– Верно, – соглашается рассказчик. – А все-таки ты это к чему головой-то качал?

– К чему? А к тому, что ты неправильно рассуждаешь... Рассказываешь ты так, что приходится понимать, будто всю твою жизнь не ты сам, а шабры делали и разные прохожие люди. А где же ты в это время был? И почему ты против своей судьбы никакой силы не выставил? И как это так выходит, что все мы жалуемся на людей, а сами тоже люди? Значит, на нас тоже

можно жаловаться? Нам жить мешают, – значит, и мы тоже кому-нибудь мешали, верно? Ну, как это объяснить?

– Нужно такую жизнь строить, чтоб в ней всем было просторно и никто никому не мешал, – говорят Коновалову.

– А кто должен строить жизнь? – победоносно вопрошает он и, боясь, что у него предвосхитят ответ на вопрос, тотчас же отвечает: – Мы! Сами мы! А как же мы будем строить жизнь, если мы этого не умеем и наша жизнь не удалась? И выходит, братцы мои, что вся опора – это мы! Ну, а известно, что такое есть мы...

Ему возражали, оправдывая себя, но он настойчиво твердил свое: никто ни в чем не виноват пред нами, каждый виноват сам пред собою.

Крайне трудно было сбить его с почвы этого положения, и трудно было усвоить его взгляд на людей. С одной стороны, они в его представлении являлись вполне правоспособными к устройству свободной жизни, с другой – они какие-то слабые, хлипкие и решительно не способные ни на что, кроме жалоб друг на друга.

Весьма часто такие споры, начатые в полдень, кончались около полуночи, и мы с Коноваловым возвращались от «стеклянных людей» во тьме и по колено в грязи.

Однажды мы едва не утонули в какой-то трясине, другой раз мы попали в облаву и ночевали в части вместе с двумя десятками разных приятелей из «стеклянного завода», с точки зрения полиции оказавшихся подозрительными личностями. Иногда нам не хотелось философствовать, и мы шли далеко в луга, за реку, где были маленькие озера, изобиловавшие мелкой рыбой, зашедшей в них во время половодья. В кустах, на берегу одного из таких озер, мы зажигали костер, который был нам нужен лишь потому, что увеличивал красоту обстановки, и читали книгу или беседовали о жизни. А иногда Коновалов задумчиво предлагал:

– Максим! Давай в небо смотреть!

Мы ложились на спины и смотрели в голубую бездну над нами. Сначала мы слышали и шелест листвы вокруг, и всплески воды в озере, чувствовали под собою землю... Потом постепенно голубое небо как бы притягивало нас к себе, мы утрачивали чувство бытия и, как бы отрываясь от земли, точно плавали в пустыне небес, находясь в полудремотном, созерцательном состоянии и стараясь не разрушать его ни словом, ни движением.

Так лежали мы по несколько часов кряду и возвращались домой к работе духовно и телесно обновленные и освеженные.

Коновалов любил природу глубокой бессловесной любовью, и всегда, в поле или на реке, весь проникался каким-то миролюбиво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его сходство с ребенком. Изредка он с глубоким вздохом говорил, глядя в небо:

– Эх!.. Хорошо!

И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, чем в риторических фигурах многих поэтов, восхищающихся скорее ради поддержания своей репутации людей с тонким чутьем прекрасного, чем из действительного преклонения пред невыразимо ласковой красой природы...

Как всё – и поэзия теряет свою святую простоту, когда из поэзии делают профессию.

День за днем прошли два месяца. Я с Коноваловым о многом переговорил и много прочитал. «Бунт Стеньки» я читал ему так часто, что он уже свободно рассказывал книгу своими словами, страницу за страницей, с начала до конца.

Эта книга стала для него тем, чем становится иногда волшебная сказка для впечатлительного ребенка. Он называл предметы, с которыми имел дело, именами ее героев, и, когда однажды с полки упала и разбилась хлебная чашка, он огорченно и зло воскликнул:

– Ах ты, воевода Прозоровский!

Неудавшийся хлеб он величал Фролкой, дрожжи именовались «Стенькины думки»; сам же Стенька был синонимом всего исключительного, крупного, несчастного, неудавшегося.

О Капитолине, письмо которой я читал и сочинял ответ на него в первый день знакомства с Коноваловым, за всё время почти не упоминалось.

Коновалов посылал ей деньги на имя некоего Филиппа с просьбой к нему поручиться в полиции за девушку, но ни от Филиппа, ни от девушки никакого ответа не последовало.

И вдруг, однажды вечером, когда мы с Коноваловым готовились сажать хлебы, дверь в пекарню отворилась, из темноты сырых сеней низкий женский голос, одновременно робкий и задорный, произнес:

– Извините...

– Кого нужно? – спросил я, в то время как Коновалов, опустив к ногам лопату, смущенно дергал себя за бороду.

– Булочник Коновалов здесь работает?

Теперь она стояла на пороге, и свет висячей лампы падал ей прямо на голову – в белом шерстяном платке. Из-под платка смотрело круглое, миловидное, курносое личико с пухлыми щеками и ямочками на них от улыбки пухлых красных губ.

– Здесь! – ответил я ей.

– Здесь, здесь! – вдруг и как-то очень шумно обрадовался Коновалов, бросив лопату и широкими шагами направляясь к госте.

– Сашенька! – глубоко вздохнула она ему навстречу.

Они обнялись, для чего Коновалов низко наклонился к ней.

– Ну что? Как? Давно? Вот так ты! Свободна? Хорошо! Вот видишь? Я говорил!.. Теперь у тебя опять есть дорога! Ходи смело! – торопливо изъяснялся перед ней Коновалов, всё еще стоя у порога и не разводя своих рук, обнявших ее шею и талию.

– Максим... ты, брат, воюй один сегодня, а я займусь вот по дамской части... Где же ты, Капа, остановилась?

– А я прямо сюда, к тебе...

– Сю-юда? Сюда невозможно... здесь хлеб пекут и... никак нельзя! Хозяин у нас строгий человек. Нужно будет пристроиться на ночь в ином месте... в номере, скажем. Айда!

И они ушли. Я остался воевать с хлебами и никак не ожидал Коновалова ранее утра; но, к немалому моему изумлению, часа через три он явился. Мое изумление еще больше увеличилось, когда, взглянув на него в чайнии видеть на его лице сияние радости, я увидел, что оно только кисло, скучно и утомлено.

– Что ты? – спросил я, сильно заинтересованный этим не подобающим событию настроением моего друга.

– Ничего... – уныло ответил он и, помолчав, довольно свирепо сплюнул.

– Нет, все-таки?... – настаивал я.

– Да что тебе? – устало отозвался он, во весь рост растягиваясь на ларе. – Все-таки... все-таки... Все-таки – баба!

Мне стоило большого труда добиться от него объяснения, и наконец он дал мне его такими приблизительно словами:

– Говорю – баба! И когда бы я не был дураком, так ничего бы этого не было. Понял? Вот ты говоришь: и баба человек! Известно, ходит она на одних задних лапах, травы не ест, слова говорит, смеется – значит, не скот. А все-таки нашему брату не компания... Почему? А... не знаю! Чувствую, не подходит, но понимать не могу – почему... Вот она, Капитолина, какую линию гнет: «Хочу, говорит, с тобой жить вроде жены. Желаю, говорит, быть твоей дворняжкой...» Совсем несообразно! «Ну, милая ты девочка, говорю, дуреха ты; ну, рассуди, как со мной жить? Первое дело у меня – запой, во-вторых, нет у меня никакого дому, в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте жить...» – и прочее такое, очень многое... А она:

«Запой – наплевать! Все, говорит, мастеровые мужчины горькие пьяницы, однако жены у них есть; дом, говорит, будет, коли будет жена, и никуда, говорит, ты тогда не побежишь...» Я говорю: «Капа, никак я не могу к этому склониться, потому что я знаю – жизнью такой жить не умею, не научусь». А она: «А я, говорит, в речку прыгну!» А я ей: «Ду-урра!» А она ругаться, да ведь ка-ак! «Ах ты, говорит, смутьян, бесстыжая рожа, обманщик, длинный черт!...» И почала, и почала... просто так-то ли разъярилась на меня, что я чуть не сбежал. Потом начала плакать. Плачет и пеняет мне: «Зачем ты, говорит, меня из того места вынул, коли я тебе не нужна? Зачем ты, говорит, меня оттуда сманил, и куда, говорит, я теперь денусь? Рыжий ты, говорит, дурак...» Ну, что теперь с ней делать?

– Да ты ее, в самом деле, почему оттуда вытащил? – спросил я.

– Почему? Вот чудак! Чай, жалко! Ведь угрызает человек... и всякому, мимо идущему, его жалко. Но чтобы обзаводиться... и прочее такое, ни-ни! На это я согласиться не могу. Какой я семьянин? Да кабы я мог держаться на этой точке, так я бы уж давно решил. Какие резоны были! Мог бы с приданным и... всё такое. Но ежели это не в моей силе, как я могу творить такое дело? Плачет она... это, конечно... тово, нехорошо... Но ведь как же? Я не могу!

Он даже головой замотал в подтверждение своего тоскливого «не могу», встал с ларя и, обеими руками ероша бороду, начал, низко опустив голову и отплевываясь, шагать по пекарне.

– Максим! – просительно и сконфуженно заговорил он, – пошел бы ты к ней и как-нибудь этак сказал ей, почему и отчего... а? Пойди, брат!

– Что же я ей скажу?

– Всю правду говори!.. Не может, мол, он. Не подходящее это ему... А то скажи вот что... у него, мол, дурная болезнь!

– Да ведь это неправда? – засмеялся я.

– Н-да... неправда... А причина хо-орошая, а? Ах ты, чёрт те возьми! Вот так каша! А? Ну куда мне жена?

Он с таким недоумением и испугом развел руками при этих словах, что было ясно – ему некуда девать жену! И, несмотря на комизм его изложения этой истории, ее драматическая сторона заставила меня крепко задуматься над судьбою девушки. А он всё ходил по пекарне и говорил как бы уже сам с собою:

– И не понравилась теперь она мне, ну просто страх как! Так это и засасывает меня она, так и втягивает куда-то, точно тряпина бездонная. Ишь ты, облюбовала себе мужа! Не больно умна, а хитрая девочка.

Это в нем, видимо, начинал говорить инстинкт бродяги, чувство вечного стремления к свободе, на которую было сделано покушение.

– Нет, меня на такого червя не поймает, я рыба крупная! – хвастливо воскликнул он. – Я вот как возьму да... а что в самом деле? – И, остановясь среди пекарни, он, улыбаясь, задумался. Я следил за игрой его возбужденной физиономии и старался предугадать, на чем он решил.

– Максим! Айда на Кубань?!

Этого я не ожидал. У меня по отношению к нему имелись некоторые литературно-педагогические намерения: я питал надежду выучить его грамоте и передать ему всё то, что сам знал в ту пору. Он дал мне слово всё лето не двигаться с места; это облегчало мне мою задачу, и вдруг...

– Ну, это уж ты ерундишь! – несколько смущенно сказал я ему.

– Да что ж мне делать? – воскликнул он.

Я начал говорить ему, что посягательство Капитолины на него совсем уж не так серьезно, как он его себе представляет, и что надо посмотреть и подождать. И даже, как оказалось, ждать-то было недолго. Мы беседовали, сидя на полу перед печью спинами к окнам. Время было близко к полночи, и с той поры, как Коновалов пришел, прошло часа полтора-два. Вдруг сзади

нас раздался дребезг стекол, и на пол шумно грохнулся довольно увесистый булыжник. Мы оба в испуге вскочили и бросились к окну.

– Не попала! – визгливо кричали в него. – Плохо метила. А уж бы...

– П'дём! – рычал зверский бас. – П'дём, а я его после уважу!

Отчаянный, истерический и пьяный хохот, визгливый, рвавший нервы, летел с улицы в разбитое окно.

– Это она! – тоскливо сказал Коновалов.

Я видел пока только две ноги, свешенные с панели в углубление пред окном. Они висели и странно болтались, ударяя пятками по кирпичной стенке ямы, как бы ища себе опоры.

– Да п'дём! – лопотал бас.

– Пусти! Не тяни меня, дай отвести душу. Прощай, Сашка! Прощай... – следовала довольно нецензурная брань.

Подойдя ближе к окну, я увидал Капитолину. Наклонившись вниз, упираясь руками в панель, она старалась заглянуть внутрь пекарни, и ее растрепанные волосы рассыпались по плечам и груди. Беленький платок был сбит в сторону, грудь лифа разорвана. Капитолина была пьяна и качалась из стороны в сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, дрожащая, растрепанная, с красным, пьяным, облитым слезами лицом...

Над ней согнулась высокая фигура мужчины, и он, упираясь одной рукой ей в плечо, а другой в стену дома, всё рычал:

– П'дём!...

– Сашка! Погубил ты меня... помни! Будь проклят, рыжий черт! Не видать бы тебе ни часу света божьего. Надеюсь я... Насмеялся ты, злодей, надо мной... ладно! Сочтемся! Спрятался! Стыдно, харя поганая... Саша... голубчик.

– Я не спрятался... – подойдя к окну и взлезая на ларь, сказал глухо и густо Коновалов. – Я не прячусь... а ты напрасно... Я добра ведь тебе хотел; добро будет – думал, а ты понесла совсем несообразное...

– Сашка! Можешь ты меня убить?

– Зачем ты напилась? Разве ты знаешь, что было бы... завтра!..

– Сашка! Саша! Утопи меня!

– Бу-удет! П'дём!

– Мер-рзавец! Зачем ты притворился хорошим человеком?

– Что за шум, а? Кто такие? – Свисток ночного сторожа вмешался в этот диалог, заглушил его и замер.

– Зачем я в тебя, черт, поверила... – рыдала девушка под окном.

Потом ее ноги вдруг дрогнули, быстро мелькнули вверх и пропали во тьме. Раздался глухой говор, возня...

– Не хочу в полицию! Са-аша! – тоскливо вопила девушка.

По мостовой тяжело затопали ноги. Свистки, глухое рычание, вопли..

– Са-аша! Ми-илый!

Казалось, кого-то немилосердно истязуют. Всё это удалялось от нас, становилось глуше, тише и пропало, как кошмар.

Подавленные этой сценой, разыгравшейся поразительно быстро, мы с Коноваловым смотрели на улицу во тьму и не могли опомниться от плача, рева, ругательств, начальнических окриков, болезненных стонов. Я вспоминал отдельные звуки и с трудом верил, что всё это было наяву. Страшно быстро кончилась эта маленькая, но тяжелая драма.

– Всё!.. – как-то особенно кротко и просто сказал Коновалов, прислушавшись еще раз к тишине темной ночи, безмолвно и строго смотревшей на него в окно.

– Как она меня!.. – с изумлением продолжал он через несколько секунд, оставаясь в старой позе, на ларе, на коленях и упираясь руками в пологий подоконник. – В полицию попала...

пьяная... с каким-то чертом. Скоро как порешила! – Он глубоко вздохнул, слез с ларя, сел на мешок, обнял голову руками, покачался и спросил меня вполголоса:

– Расскажи ты мне, Максим, что же это такое тут теперь вышло?.. Какое мое теперь во всем этом дело?

Я рассказал. Прежде всего нужно понимать то, что хочешь делать, и в начале дела нужно представлять себе его возможный конец. Он всё это не понимал, не знал и – кругом во всем виноват. Я был обозлен им – стоны и крики Капитолины, пьяное «п'дё-ем!..» – всё это еще стояло у меня в ушах, и я не щадил товарища.

Он слушал меня с наклоненной головой, а когда я кончил, поднял ее, и на лице его я прочитал испуг и изумление.

– Вот так раз! – восклицал он. – Ловко! Ну, и... что же теперь? А? Как же? Что мне с ней делать?

В тоне его слов было так много чисто детского по искренности сознания своей вины перед этой девушкой и так много беспомощного недоумения, что мне тут же стало жаль товарища, и я подумал, что, пожалуй, уж очень резко говорил с ним.

– И зачем я ее тронул с того места! – каялся Коновалов. – Эхма! ведь как она теперь на меня... Я пойду туда, в полицию, и похлопочу... Увижу ее... и прочее такое. Скажу ей... что-нибудь. Идти?

Я заметил, что едва ли будет какой-либо толк от его свидания. Что он ей скажет? К тому же она пьяная и, наверное, спит уже.

Но он укрепился в своей мысли.

– Пойду, погоди. Все-таки я ей добра желаю... как хошь. А там что за люди для нее? Пойду. Ты тут тово... я – скоро!

И, надев на голову картуз, он даже без опорок, в которых обыкновенно шеголял, быстро вышел из пекарни. Я отработался и лег спать, а когда поутру, проснувшись, по привычке взглянул на место, где спал Коновалов, его еще не было.

Он явился только к вечеру – хмурый, взъерошенный, с резкими складками на лбу и с каким-то туманом в голубых глазах. Не глядя на меня, подошел к ларям, посмотрел, что мной сделано, и молча лег на пол.

– Что же, ты видел ее? – спросил я.

– Затем и ходил.

– Ну так что же?

– Ничего.

Было ясно – он не хотел говорить. Полагая, что такое настроение не продлится у него долго, я не стал надоедать ему вопросами. Он весь день молчал, только по необходимости бросая мне краткие слова, относящиеся к работе, расхаживал по пекарне с понуренной головой и всё с теми же туманными глазами, с какими пришел. В нем точно погасло что-то; он работал медленно и вяло, связанный своими думами. Ночью, когда мы уже посадили последние хлебы в печь и, из боязни передержать их, не ложились спать, он попросил меня:

– Ну-ка, почитай про Стеньку что-нибудь.

Так как описание пыток и казни всего более возбуждало его, я стал ему читать именно это место. Он слушал, неподвижно растянувшись на полу кверху грудью, и, не мигая глазами, смотрел в закопченные своды потолка.

– Вот и порешили с человеком, – медленно заговорил Коновалов. – А все-таки в ту пору можно было жить. Свободно. Было куда податься. Теперь вот тишина и смиренность... ежели так со стороны посмотреть, совсем даже смиренная жизнь теперь стала. Книжки, грамота... А все-таки человек без защиты живет и никакого призора за ним нет. Грешить ему запрещено, но не грешить невозможно... Потому на улицах-то порядок, а в душе – путаница. И никто никого не может понимать.

– Ну так как же ты с Капитолиной-то? – спросил я.

– А? – встрепнулся он. – С Капкой? Шабаш... – Он решительно махнул рукой.

– Кончил, значит?

– Я? Нет... она сама кончила.

– Как?

– Очень просто. Стала на свою точку и больше никаких... Всё по-старому. Только раньше она не пила, а теперь пить стала... Ты вынь хлеб, а я буду спать.

В пекарне стало тихо. Коптила лампа, изредка потрескивала заслонка печи, и корки испеченного хлеба на полках тоже трещали. На улице, против наших окон, разговаривали ночные сторожа. И еще какой-то странный звук порой доходил до слуха с улицы – не то где-то скрипела вывеска, не то кто-то стонал.

Я вынул хлеба, лег спать, но не спалось, и, прислушиваясь ко всем звукам ночи, я лежал, полускрыв глаза. Вдруг вижу: Коновалов бесшумно поднимается с полу, идет к полке, берет с нее книгу Костомарова, раскрывает ее и подносит к глазам. Мне ясно видно его задумчивое лицо, я слежу, как он водит пальцем по строкам, качает головою, переворачивает страницу, снова пристально смотрит на нее, а потом переводит глаза на меня. Что-то странное, напряженное и вопрошающее отражает от себя его задумчивое, осунувшееся лицо, и долго оно остается обращенным ко мне, новое для меня.

Я не мог сдержать своего любопытства и спросил его, что он делает.

– А я думал, ты спишь... – смутился он; потом подошел ко мне, держа книгу в руке, сел рядом и, запинаясь, заговорил: – Я, видишь ли, хочу тебя спросить вот про что... Нет ли книги какой-нибудь насчет порядков жизни? Поучения, как жить? Поступки бы нужно мне разъяснить, которые вредны, которые – ничего себе... Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими... Который в начале мне кажется хорошим, в конце выходит плохим. Вот хоть бы насчет Капки. – Он перевел дух и продолжал просительно: – Так вот поищи-ка, нет ли книги насчет поступков? И прочитай мне.

Несколько минут молчания...

– Максим!..

– А?

– Как меня Капитолина-то раскрашивала!

– Да ладно уж... Будет тебе...

– Конечно, теперь уж нечего... А что, скажи мне... вправе она?..

Это был щекотливый вопрос, но, подумав, я отвечал на него утвердительно.

– Вот и я тоже так полагаю... Вправе... – уныло протянул Коновалов и замолчал.

Он долго возился на своей рогоже, посланной прямо на пол, несколько раз вставал, курил, садился под окно, снова ложился.

Потом я заснул, а когда проснулся, его уже не было в пекарне, и он явился только к вечеру. Казалось, что весь он был покрыт какой-то пылью, и в его отуманенных глазах застыло что-то неподвижное. Кинув картуз на полку, он вздохнул и сел рядом со мной.

– Ты где был?

– Ходил Капку посмотреть.

– Ну и что?

– Шабаш, брат! Ведь я те говорил...

– Ничего, видно, не поделаешь с этим народом... – попробовал было я рассеять его настроение и заговорил о могучей силе привычки и о всем прочем, что в этом случае было уместно. Коновалов упорно молчал, глядя в пол.

– Нет, это что-о! Не в том сила! А просто я есть заразный человек... Не доля мне жить на свете... Ядовитый дух от меня исходит. Как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня и заражается. И для всякого я могу с собой принести только горе... Ведь ежели подумать

– кому я всей моей жизнью удовольствие принес? Никому! А тоже, со многими людьми имел дело... Тлеющий я человек...

– Это чепуха!..

– Нет, верно!.. – убежденно кивнул он головой.

Я разубеждал его, но в моих речах он еще более черпал уверенности в своей непригодности к жизни...

Он быстро и резко изменился. Стал задумчив, вял, утратил интерес к книге, работал уже не с прежней горячностью, молчаливо, необщительно.

В свободное время ложился на пол и упорно смотрел в своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза утратили свой ясный детский блеск.

– Саша, ты что? – спросил я его.

– Запой начинается, – объяснил он. – Скоро я начну водку глушить... Внутри у меня жжет... вроде изжоги, знаешь... Пришло время... Кабы не эта самая история, я бы, поди-ка, еще протянул сколько-нибудь. Ну – ест меня это дело... Как так? Желал я человеку оказать добро – и вдруг... Совсем несообразно! Да, брат, очень нужен для жизни порядок поступков... Неужто уж так и нельзя выдумать этаким закон, чтобы все люди действовали как один и друг друга понимать могли? Ведь совсем нельзя жить на таком расстоянии один от другого! Неужто умные люди не понимают, что нужно на земле устроить порядок и в ясность людей привести?... Э-эхма!

Поглощенный думами о необходимости в жизни порядка, он не слушал моих речей. Я заметил даже, что он как бы стал чуждаться меня. Однажды, выслушав в сто первый раз мой проект реорганизации жизни, он рассердился на меня.

– Ну тебя... Слыхал я это... Тут не в жизни дело, а в человеке... Первое дело – человек... понял? Ну, и больше никаких... Этак-то, по-твоему, выходит, что, пока там всё это переделается, человек все-таки должен оставаться как теперь. Нет, ты его перестрой сначала, покажи ему ходы... Чтобы ему было и светло и не тесно на земле, – вот чего добивайся для человека. Научи его находить свою тропу...

Я возражал, он горячился или делался угрюмым и скучно восклицал:

– Э, отстань!

Как-то раз он ушел с вечера и не пришел ни ночью к работе, ни на другой день. Вместо него явился хозяин с озабоченным лицом и объявил:

– Закутил Лексаха-то у нас. В «Стенке» сидит. Надо нового пекаря искать.

– А может, оправится?!

– Ну, как же, жди... Знаю я его...

Я пошел в «Стенку» – кабак, хитроумно устроенный в каменном заборе. Он отличался тем, что в нем не было окон и свет падал в него сквозь отверстие в потолке. В сущности, это была квадратная яма, вырытая в земле и покрытая сверху тесом. В ней пахло землей, махоркой и перегорелой водкой, ее наполняли завсегдатаи – темные люди. Они целыми днями торчали тут, ожидая закутившего мастерского для того, чтоб донага опить его.

Коновалов сидел за большим столом, посредине кабака, в кругу почтительно и льстиво слушавших его шестерых господ в фантастически рваных костюмах, с физиономиями героев из рассказов Гофмана.

Пили пиво и водку, закусывали чем-то похожим на сухие комья глины...

– Пейте, братцы, пейте, кто сколько может. У меня есть и деньги и одежда... Дня на три хватит всего. Всё пропью и... шабаш! Больше не хочу работать и жить здесь не хочу.

– Город сквернейший, – сказал некто, похожий на Джона Фальстафа.

– Работа? – вопросительно посмотрел в потолок другой и с изумлением спросил: – Да разве человек для этого на свет родился?

И все они сразу загалдели, доказывая Коновалову его право всё пропить и даже возводя это право на степень неперенной обязанности – именно с ними пропить.

– А, Максим... и котомка с ним! – скалабурил Коновалов, увидав меня. – Ну-ка, книжник и фарисей, – тыпни! Я, брат, окончательно спрыгнул с рельс. Шабаш! Пропиться хочу до волос... Когда одни волосы на теле останутся – кончу. Вали и ты, а?

Он еще не был пьян, только голубые глаза его сверкали возбуждением и роскошная борода, падавшая на грудь ему шелковым веером, то и дело шевелилась – его нижняя челюсть дрожала нервной дрожью. Ворот рубахи был расстегнут, на белом лбу блестели мелкие капельки пота, и рука, протянутая ко мне со стаканом пива, тряслась.

– Брось, Саша, уйдем отсюда, – сказал я, положив ему руку на плечо.

– Бросить?.. – Он засмеялся. – Кабы ты лет на десять раньше пришел ко мне да сказал это – может, я и бросил бы. А теперь я уж лучше не брошу... Чего мне делать? Ведь я чувствую, всё чувствую, всякое движение жизни... но понимать ничего не могу и пути моего не знаю... Чувствую – и пью, потому что больше мне делать нечего... Выпей.

Его компания смотрела на меня с явным неудовольствием, и все двенадцать глаз измеряли мою фигуру далеко не миролюбиво.

Бедняги боялись, что я уведу Коновалова – угощение, которое они ждали, быть может, целую неделю.

– Братцы! Это мой товарищ, – ученый, черт его возьми! Максим, можешь ты здесь прочитать про Стеньку?.. Ах, братцы, какие книги есть на свете! Про Пилу... Максим, а?.. Братцы, не книга это, а кровь и слезы. А... ведь Пила-то – это я? Максим!.. И Сысойка – я... Ей-богу! Вот и объяснилось!

Он широко открытыми глазами, с испугом в них, смотрел на меня, и нижняя его губа странно дрожала. Компания не особенно охотно очистила мне место за столом. Я сел рядом с Коноваловым, как раз в момент, когда он хватил стакан пива пополам с водкой.

Ему, очевидно, хотелось как можно скорее оглушить себя этой смесью. Выпив, он взял с тарелки кусок того, что казалось глиной, а было вареным мясом, посмотрел на него и бросил через плечо в стену кабака.

Компания вполголоса урчала, как стая голодных собак.

– Потерянный я человек... Зачем меня мать на свет родила? Ничего не известно... Темь!.. Теснота!.. Прощай, Максим, коли ты не хочешь пить со мной. В пекарню я не пойду. Деньги у меня есть за хозяином – получи и дай мне, я их пропью... Нет! Возьми себе на книги... Берешь? Не хочешь? Не надо... А то возьми? Свинья ты, коли так... Уйди от меня! У-уходи!

Он пьянел, глаза у него зверски блеснули.

Компания была совершенно готова вытурить меня в шею из среды своей, и я, не желая дожидаться этого, ушел.

Часа через три я снова был в «Стенке». Компания Коновалова увеличилась еще на два человека. Все они были пьяны, он – меньше всех. Он пел, облокотясь на стол и глядя на небо через отверстие в потолке. Пьяницы в разнообразных позах слушали его и некоторые икали.

Пел Коновалов баритоном, на высоких нотах переходившим в фальцет, как у всех певцов-мастеровых. Подперев щеку рукой, он с чувством выводил заунывные рулады, и лицо его было бледно от волнения, глаза полузакрыты, горло выгнуто вперед. На него смотрели восемь пьяных, бессмысленных и красных физиономий, и только порой были слышны бормотанье и икота. Голос Коновалова вибрировал, плакал и стонал, – было до слез жалко видеть этого славного парня поющим свою грустную песню.

Тяжелый запах, потные, пьяные рожи, две коптящие керосиновые лампы, черные от грязи и копоти доски стен кабака, его земляной пол и сумрак, наполнявший эту яму, – всё было мрачно и болезненно. Казалось, что это пируют заживо погребенные в склепе и один из них

поет в последний раз перед смертью, прощаясь с небом. Безнадежная грусть, спокойное отчаяние, безысходная тоска звучали в песне моего товарища.

– Максим здесь? Хочешь ко мне эсаулом? – прервав свою песню, заговорил он, протягивая мне руку. – Я, брат, совсем готов... Набрал шайку себе... вот она... Потом еще будут люди... Найдем! Это н-ничего! Пилу и Сысойку призовем... И будем их каждый день кашей кормить и говядиной... хорошо? Идешь? Возьми с собой книги... будешь читать про Стеньку и про других... Друг! Ах и тошно мне, тошно мне... то-ошно-о!..

Он изо всей силы грохнул кулаком по столу. Загремели стаканы и бутылки, и компания, очнувшись, сразу же наполнила кабак страшным шумом.

– Пей, ребята! – крикнул Коновалов. – Пей! Отводи душу – дуй вовсю!

Я ушел от них, постоял у двери на улице, послушал, как Коновалов ораторствовал заплетавшимся языком, и, когда он снова начал петь, отправился в пекарню, и вслед мне долго стояла и плакала в ночной тишине неуклюжая пьяная песня.

Через два дня Коновалов пропал куда-то из города.

Нужно родиться в культурном обществе для того, чтобы найти в себе терпение всю жизнь жить среди него и не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности, – одним словом, из всей этой охлаждающей чувство, развращающей ум суеты сует. Я родился и воспитывался вне этого общества и по сей приятной для меня причине не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок и освежиться несколько от чрезмерной сложности и болезненной утонченности этого быта.

В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя всё и грязно, но всё так просто и искренно, или идти гулять по полям и дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме хороших, выносливых ног.

Лет пять тому назад я предпринял именно такую прогулку и, расхаживая по святой Руси, попал в Феодосию. В то время там начинали строить мол, и, в чаянии заработать немного денег на дорогу, я отправился на место сооружения.

Желая сначала посмотреть на работу как на картину, я взобрал на гору и сел там, глядя вниз на бескрайное, могучее море и крошечных людей, строивших ему ковы.

Передо мной развернулась широкая картина труда: весь каменистый берег перед бухтой был изрыт, всюду ямы, кучи камня и дерева, тачки, бревна, полосы железа, копры для битья свай и еще какие-то приспособления из бревен, и среди всего этого сновали люди. Они, разорвав гору динамитом, дробили ее кирками, расчищая площадь для линии железной дороги, они месили в громадных творах цемент и, делая из него саженные кубические камни, опускали их в море, строя оплот против титанической силы его неугомонных волн. Они казались маленькими, как черви, на фоне темно-коричневой горы, изуродованной их руками, и, как черви, суетливо копошились среди груд щебня и кусков дерева в облаках каменной пыли, в тридцатиградусном зное южного дня. Хаос вокруг них, раскаленное небо над ними придавали их суете такой вид, как будто бы они вкапывались в гору, стремясь уйти в недра ее от солнечного зноя и окружающей их унылой картины разрушения.

В душном воздухе стоял ропот и гул, раздавались удары кирок о камень, заунывно пели колеса тачек, глухо падала чугунная баба на дерево свай, плакала «дубинушка», стучали топоры, обтесывая бревна, и на все голоса кричали темные и серые, хлопотливые фигурки людей...

В одном месте кучка их, громко ухая, возилась с большим осколком горы, стараясь сдвинуть его с места, в другом подымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали:

– Бе-е-ри-и!

И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!

По ломаной линии досок, набросанных тут и там, медленно двигалась вереница людей, согнувшись над тачками, нагруженными камнем, и навстречу им шла другая с порожними тачками, шла медленно, растягивая одну минутку отдыха на две... У копра стояла густая пестрая толпа народа, и в ней кто-то протяжно тенором выпевал:

И-эх-ма, бра-атцы, дюже жарко!
И-эх! Никому-то нас не жалко!
О-ой, ду-убинушка,
У-ухнем!

Мощно гудела толпа, натягивая тросы, и кусок чугуна, взлетая вверх по дудке копра, падал оттуда, раздавался тупой охающий звук, и копер вздрагивал.

На всех точках площади между горой и морем сновали маленькие серые люди, насыщая воздух своим криком, пылью, терпким запахом человека. Среди них расхаживали распорядители в белых кителях с металлическими пуговицами, сверкавшими на солнце, как чьи-то желтые холодные глаза.

Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо плещет своими прозрачными волнами на берег, полный движения. Сияя в блеске солнца, оно точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающего, что, если он захочет, одно движение – и работа лилипутов исчезнет.

Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском, – большое, сильное, доброе, его могучее дыхание веяло на берег, освежая истомленных людей, трудящихся над тем, чтобы стеснить свободу его волн, которые теперь так кротко и звучно ласкают изуродованный берег. Оно как бы жалело их: века его существования научили его понимать, что не те злоумышляют против него, которые строят; оно давно уже знает, что это только рабы, их роль бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой борьбе готова и месть стихии им. Они всё только строят, вечно трудятся, их пот и кровь – цемент всех сооружений на земле; но они ничего не получают за это, отдавая все свои силы вечному стремлению соорудить, – стремлению, которое создает на земле чудеса, но все-таки не дает людям крова и слишком мало дает им хлеба. Они – тоже стихия, и вот почему море не гневно, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. Эти серые маленькие черви, так источившие гору, – то же самое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные и холодные скалы берегов в вечном стремлении моря расширить свои пределы и первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже родственны ему, тогда они совсем как море, – так же мощны и так же склонны к разрушению, чуть только веяние бури пронесется над ними. Морю издревле ведомы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы Ксеркса, смешного человека, который думал наказать море тремьями ударов за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, их всегда плохо кормили, и они вечно исполняли великое и чудесное, иногда обоготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще проклиная их, изредка возмущаясь против своих владык...

Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой людей, созидających каменную преграду их вечному движению, взбегают и поют свою звучную ласковую песню о прошлом, о всем, что в течение веков видели они на берегах этой земли...

...Среди работавших были какие-то странные, сухие, бронзовые фигуры в красных чалмах, в фесках, в синих коротких куртках и в шароварах, узких у голени, но – с широкой мотней. Это, как я узнал, анатолийские турки. Их гортанный говор мешался с протяжным, растянутым говорком вятичей, с крепкой, быстрой фразой волгарей, с мягкой речью хохлов.

В России голодали, голод согнал сюда представителей чуть ли не всех охваченных несчастьем губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и

только космополиты-босяки сразу выделялись – и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи – из людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавших с нею связь, оторванных от нее голодом и не забывших о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте, но большинство их собралось у копра, как у работы – сравнительно с работой на тачках и с киркой – более легкой.

Когда я подошел к ним, они стояли, опустив руки с веревкой, дожидаясь, когда нарядчик исправит что-то в блоке копра, должно быть, «заедавшем» веревку. Он копался там вверху деревянной башни, то и дело крича оттуда:

– Дерни!

Веревку лениво дергали.

– Сто-ой!.. Ище дерни. Сто-ой! Пшел!..

Запевала – давно не бритый малый, с рябым лицом и солдатской выправкой – повел плечами, скосил в сторону глаза, откашлялся и завел:

– Ба-аба сваю в землю гонит...

Следующий стих не выдержал бы даже и самой снисходительной цензуры и вызвал единогодушный взрыв хохота, явившись, очевидно, импровизацией, только что созданной запевалой, который, под смех товарищей, крутил себе усы с видом артиста, привыкшего к такому успеху у своей публики.

– Поше-ол! – неистово заорал сверху копра нарядчик. – Заржали!..

– Митрич, – лопнешь!.. – предупредил его один из рабочих.

Голос был мне знаком, и я где-то видел эту высокую широкоплечую фигуру с овальным лицом и большими голубыми глазами. Это – Коновалов? Но у Коновалова не было шрама от правого виска к переносью, рассекавшего высокий лоб этого парня; волосы Коновалова были светлее и не вились такими мелкими кудрями, как у этого; у Коновалова была красивая широкая борода, этот же брился и носил густые усы концами книзу, как хохол. И тем не менее в нем было что-то хорошо знакомое мне. Я решил с ним заговорить о том, к кому тут нужно обратиться, чтоб «встать на работу», и стал дожидаться, когда перестанут бить сваю.

– О-о-ух! о-о-ох! – могуче вздыхала толпа, приседая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь, как бы готовая оторваться от земли и взлететь на воздух. Копер скрипел и дрожал, над головами толпы поднимались обнаженные, загорелые и волосатые руки, вытягиваясь вместе с веревкой; их мускулы вздувались шишками, но сорокапудовый кусок чугуна взлетал вверх всё на меньшее расстояние, и его удар о дерево звучал всё слабее. Глядя на эту работу, можно было подумать, что это молится толпа идолопоклонников, в отчаянии и экстазе вздымая руки к своему молчаливому богу и преклоняясь пред ним. Облитые потом, грязные и напряженные лица с растрепанными волосами, приставшими к мокрым лбам, коричневые шеи, дрожащие от напряжения плечи – все эти тела, едва прикрытые разноцветными рваными рубахами и портами, насыщали воздух вокруг себя горячими испарениями и, слившись в одну тяжелую массу мускулов, неуклюже возились во влажной атмосфере, пропитанной зноем юга и густым запахом пота.

– Шабаш! – крикнул кто-то злым и надорванным голосом.

Руки рабочих выпустили веревки, и они слабо повисли вдоль копра, а рабочие грузно опустились тут же на землю, отирая пот, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя воздух глухим ропотом, похожим на рычание большого раздраженного зверя.

– Земляк! – обратился я к облюбованному малому. Он лениво обернулся ко мне, скользнул по моему лицу своими глазами и сощурил их, пристально всматриваясь в меня.

– Коновалов!

– Постой... – он запрокинул рукой мою голову назад, точно собираясь схватить меня за горло, и вдруг весь вспыхнул радостной и доброй улыбкой.

– Максим! Ах ты... ан-нафема! Дружок... а? И ты сорвался со стези-то своей? В босые приписался? Ну вот и хорошо! Отлично! Давно ты? Откуда ты идешь? Мы теперь с тобою всю землю ошагаем! Какая там жизнь... сзади-то? Тоска одна, канитель; не живешь, а гниешь! А я, брат, с той самой поры гуляю по белу свету. В каких местах бывал! Какими воздухами дышал... Нет, как ты обрядился ловко... не узнать: по одеже – солдат, по роже – студент! Ну что, хорошо так жить, с места на место? А ведь Стеньку-то я помню... И Тараса, и Пилу... всё!..

Он толкал меня в бок кулаком, хлопал своей широкой ладонью по плечу. Я не мог вставить ни слова в залп его вопросов и только улыбался, глядя в его доброе лицо, сиявшее удовольствием встречи. Я был тоже рад видеть его, очень рад; встреча с ним напомнила мне начало моей жизни, которое, несомненно, было лучше ее продолжения.

Наконец мне удалось-таки спросить старого приятеля, откуда у него шрам на лбу и кудри на голове.

– А это, видишь ты... история одна была. Думал было я пробраться втроем с товарищами через румынскую границу, посмотреть хотели, как там, в Румынии. Ну, вот и отправились из Кагула – местечко этакое есть в Бессарабии, около самой границы. Ночью, конечно, потихоньку идем себе. Вдруг: стой! Кордон таможенный, прямо на него налезли. Ну – бежать! Тут меня один солдатик и съездил по башке. Не больно важно ударил, а все-таки с месяц я провалялся в госпитале. И какая ведь история! Солдат-то земляком оказался! Наш, муромский!.. Его тоже скоро в госпиталь положили – контрабандист его испортил, ножом в живот ткнул. Очухались мы и разобрались в делах-то. Солдат спрашивает у меня: «Это, говорит, я тебя полоснул?» – «Надо быть, ты, коли признаешь». – «Должно, я, говорит: ты, говорит, не сердись – служба такая. Мы думали, вы с контрабандой идете. Вот, говорит, и меня уважили – брюхо подпорол. Ничего не поделаешь: жизнь – игра серьезная». Ну, мы и подружились с ним. Хороший солдатик – Яшка Мазин... А кудри? Кудри? Кудри, брат ты мой, это после тифа. Тиф у меня был. Посадили меня в Кишиневе в тюрьму, желая судить за самовольное прохождение границы, а там у меня и разыгрался тиф... Валялся я с ним, валялся, насилу встал. Надо быть, даже и не встал бы, да сиделка очень уж за меня хлопотала. Я, брат, просто диву дался – возится со мной, как с детей, а на что я ей нужен? «Марья, говорю, Петровна, бросьте вы эту музыку; чай, мне совестно!» А она знай себе посмеивается. Добрая девица... Душеспасительное мне читала иногда. Ну, а я говорю – нет ли, мол, чего этакого? Принесла книгу насчет англичанина-матроса, который спасся от кораблекрушения на безлюдный остров и устроил на нем себе жизнь. Интересно, страх как! Очень мне понравилась книга; так бы туда к нему и поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров, море, небо – ты один себе живешь, и всё у тебя есть, и ты свободен! Там еще дикий был. Ну, я бы дикого утопил – на кой черт он мне нужен! Мне и одному не скучно. Ты читал такую книгу?

– Ну, а как же ты вышел из тюрьмы?

– А – выпустили. Посудили, оправдали и выпустили. Очень просто... Вот что: я сегодня больше не работаю, ну ее к лешему! Ладно, навихлял себе руки, и будет. Денег у меня есть рубля три да за сегодняшние полдня сорок копеек получу. Вон сколько капитала! Значит, пойдем со мной к нам... Мы не в бараке, а тут поблизости, в горе... дыра там есть такая, очень удобная для человеческого жительствова. Вдвоем мы квартируем в ней, да товарищ болеет – лихорадка его скрючила... Ну, так ты посиди тут, а я к подрядчику... я скоро!..

Он быстро встал и пошел как раз в то время, когда сваебойцы брались за веревку, начиная работу. Я остался сидеть на камне, поглядывая на шумную суету, царившую вокруг меня, и на спокойное синевато-зеленое море.

Высокая фигура Коновалова, быстро шмыгая между людей, груд камня, дерева и тачек, исчезала вдаль. Он шел, размахивая руками, одетый в синюю кретоновую блузу, которая была ему коротка и узка, в холщовые порты и в тяжелые опорки. Шапка русских кудрей колыхалась на его большой голове. Иногда он оборачивался назад и делал мне руками какие-то знаки.

Весь он был какой-то новый, оживленный, спокойно уверенный и сильный. Всюду вокруг него работали, трещало дерево, раскалывался камень, уныло визжали тачки, вздымались облака пыли, что-то с грохотом падало, и люди кричали, ругались, ухали и пели, точно стоная. Среди всей этой путаницы звуков и движений красивая фигура моего приятеля, удалявшегося куда-то твердыми шагами, очень резко выделялась, являясь как бы намеком на что-то, объясняющее Коновалова.

Часа через два после встречи мы с ним лежали в «дыре, очень удобной для человеческого жительства». На самом деле «дыра» была весьма удобна – в горе когда-то давно брали камень и вырубили большую четырехугольную нишу, в которой можно было вполне свободно поместиться четверым. Но она была низка, и над входом в нее висела глыба камня, изображая собой как бы навес, так что для того, чтобы попасть в дыру, следовало лечь на землю перед ней и потом засовывать себя в нее. Глубина ее была аршина три, но влезать в нее с головой не представлялось надобности, да и было рискованно, ибо эта глыба над входом могла обвалиться и совсем похоронить нас там. Мы не хотели этого и устроились так: ноги и туловища сунули в дыру, где было очень прохладно, а головы оставили на солнце, в отверстии дыры, так что если бы глыба камня над нами захотела упасть, то она только раздавила бы нам черепа.

Больной босяк весь выбрался на солнце и лег около нас шагах в двух, так что мы слышали, как стучали его зубы в пароксизме лихорадки. Это был сухой и длинный хохол: «з Пíлтавы», – задумчиво сказал он мне.

Он катался по земле, стараясь плотнее закутаться в серый балахон, сшитый из одних дыр, и очень образно ругался, видя, что все его усилия тщетны, ругался и все-таки продолжал кутаться. У него были маленькие черные глаза, постоянно прищуренные, точно он всегда что-то пристально рассматривал.

Солнце невыносимо пекло нам затылки, Коновалов устроил из моей солдатской шинели нечто вроде ширмы, воткнув в землю палки и распылив на них шинель. Издали долетал глухой шум работ на бухте, но ее мы не видели, справа от нас лежал на берегу город тяжелыми глыбами белых домов, слева – море, пред нами – оно же, уходившее в неизмеримую даль, где в мягких полутонах смешались в фантастическое марево какие-то дивные и нежные, невиданные краски, ласкающие глаз и душу неувимой красотой своих оттенков...

Коновалов смотрел туда, блаженно улыбался и говорил мне:

– Сядет солнце, мы запалим костер, вскипятим чаю, есть у нас хлеб, есть мясо. Хочешь арбуза?

Он выкатил ногой из угла ямы арбуз, достал из кармана нож и, разрезая арбуз, говорил:

– Каждый раз, как я бываю у моря, я всё думаю – чего люди мало селятся около него? Были бы они от этого лучше, потому оно – ласковое такое... хорошие думы от него в душе у человека. А ну, расскажи, как ты сам жил в эти годы?..

Я стал рассказывать ему. Море вдаль уже покрылось багрецом и золотом, навстречу солнцу поднимались розовато-дымчатые облака мягких очертаний. Казалось, что со дна моря встают горы с белыми вершинами, пышно убранными снегом, розовыми от лучей заката.

– Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься, – убедительно сказал Коновалов, выслушав мою эпопею. – И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь. Ни воздуха, ни простору, ничего, что человеку надо. Люди? Люди везде есть... Книги? Ну, будет уж тебе книги читать! Не для этого, поди-ка, ты родился... Да и книги – чепуха. Ну, купи ее, положи в котомку и иди. Хочешь со мной идти в Ташкент? В Самарканд или еще куда?.. А потом на Амур хватим... идет? Я, брат, решил ходить по земле в разные стороны – это всего лучше. Идешь и всё видишь новое... И ни о чем не думается... Дует тебе ветерок навстречу и выгоняет из души разную пыль. Легко и свободно... Никакого ни от кого стеснения: захотелось есть – пристал, поработал чего-нибудь на полтину; нет работы – попроси хлеба, дадут. Так – хоть земли много увидишь... Красоты всякой. Айда?

Солнце село. Облака над морем потемнели, море тоже стало темным, повеяло прохладой. Кое-где уж вспыхивали звезды, гул работы в бухте прекратился, лишь порой оттуда тихие, как вздохи, доносились возгласы людей. И когда на нас дул ветер, он приносил с собой меланхолический звук шороха волн о берег.

Тьма ночная быстро сгущалась, и фигура хохла, за пять минут перед тем имевшая вполне определенные очертания, теперь уже представляла собою неуклюжий ком...

– Костер бы... – сказал он, покашливая.

– Можно...

Коновалов откуда-то извлек кучку щеп, подпалил их спичкой, и тонкие язычки огня начали ласково лизать желтое смолистое дерево. Струйки дыма вились в ночном воздухе, полном влаги и свежести моря. А вокруг становилось всё тише: жизнь точно отодвигалась куда-то от нас, звуки ее таяли и гасли во тьме. Облака рассеялись, на темно-синем небе ярко засверкали звезды, на бархатной поверхности моря тоже мелькали огоньки рыбацких лодок и отраженных звезд. Костер перед нами расцвел, как большой красно-желтый цветок... Коновалов сунул в него чайник и, обняв колени, задумчиво стал смотреть в огонь. Хохол, как громадная ящерица, подполз к нему.

– Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... Хорошая жизнь! Нет, вот она жизнь, вот как мы...

– Ого, – тряхнул головой хохол, – коли б к ней еще нам на зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то и совсем была бы господская жизнь... – Он прищурил один глаз и, усмехнувшись, посмотрел на Коновалова.

– Н-да, – смутился тот, – зима – треклятое время. Для зимы города действительно нужны... тут уж ничего не поделаешь... Но большие города все-таки ни к чему... Зачем народ сбивать в такие кучи, когда и двое-трое ужиться между собой не могут?... Я – вот про что! Оно, конечно, ежели подумать, так ни в городе, ни в степи, нигде человеку места нет. Но лучше про такие дела не думать... ничего не выдумаешь, а душу надорвешь...

Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердце в первое время нашего знакомства, слетели с него, как шелуха, от вольного воздуха, которым он дышал в эти годы; но тон его последней фразы восстановил предо мной приятеля всё тем же ищущим своей «точки» человеком, каким я его знал. Всё та же ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум о ней разъедали могучую фигуру, рожденную, к ее несчастью, с чутким сердцем. Таких «задумавшихся» людей много в русской жизни, и все они более несчастны, чем кто-либо, потому что тяжесть их дум увеличена слепотой их ума. Я с сожалением посмотрел на приятеля, а он, как бы подтверждая мою мысль, тоскливо воскликнул:

– Вспомнил я, Максим, нашу жизнь и всё там... что было. Сколько после того исходил я земли, сколько всякой всячины видел... Нет для меня на земле ничего удобного! Не нашел я себе места!

– А зачем родился с такой шеей, на которую ни одно ярмо не подходит? – равнодушно спросил хохол, вынимая из огня вскипевший чайник.

– Нет, скажи ты мне... – спрашивал Коновалов, – почему я не могу быть покоен? Почему люди живут и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и всё прочее?... И всегда у них есть охота делать то, другое. А я – не могу. Тошно. Почему мне тошно?

– Вот скулит человек, – удивился хохол. – Да разве ж оттого, что ты поскулишь, тебе полегчает?

– Верно... – грустно согласился Коновалов.

– Я всегда говорю немного, да знаю, как сказать, – с чувством собственного достоинства произнес стоик, не уставая бороться с своей лихорадкой.

Он закашлялся, завозился и стал ожесточенно плевать в костер. Вокруг нас всё было глухо завешено густой пеленой тьмы. Небо над нами тоже было темно, луны еще не было. Море

скорее чувствовалось, чем было видимо нам, – так густа была тьма впереди нас. Казалось, на землю спустился черный туман. Костер гас.

– А ляжемте спать, – предложил хохол.

Мы забрались в «дыру» и легли, высунув из нее головы на воздух. Молчали. Коновалов как лег, так и остался неподвижен, точно окаменел. Хохол неустанно возился и всё стучал зубами. Я долго смотрел, как тлели угли костра: сначала яркий и большой, уголь понемногу становился меньше, покрывался пеплом и исчезал под ним. И скоро от костра не осталось ничего, кроме теплого запаха. Я смотрел и думал:

«Так и все мы... Хоть бы разгореться ярче!» ...Через три дня я простился с Коноваловым. Я шел на Кубань, он не хотел. Но мы оба расстались в уверенности, что встретимся.

Не пришлось...

1897

Болесь

Один знакомый вот что рассказал мне:

«Когда я был в Москве студентом, мне довелось жить рядом с одной из „этих“, – знаешь? Она была полька, звали ее Тереза. Высокая такая, сильная брюнетка, с черными сросшимися бровями и с лицом большим, грубым, точно вырубленным топором, – она приводила меня в ужас животным блеском своих томных глаз, густым, басовитым голосом, извозчичьими ухватками, всей своей громадной мускулистой фигурой рыночной торговли... Я жил на чердаке, и ее дверь была против моей. Я, бывало, никогда не открывал моей двери, если знал, что она дома. Но это, конечно, случалось редко. Иногда мне приходилось встречаться с ней на лестнице, на дворе, и она улыбалась мне улыбкой, которую я считал хищной и циничной. Не раз я видел ее пьяной, с осовелыми глазами, растрепанной, улыбающейся как-то особенно безобразно. В таких случаях она говорила мне:

– Бывайте здоровы, пане студент! – и глупо хохотала, увеличивая мое отвращение к себе. Я бы съехал с квартиры, чтоб избавиться от таких встреч и приветствий, но у меня была такая миленькая комнатка, с широким видом из окна, и так тихо было в этой улице... Я терпел.

И вдруг, однажды утром лежу я на койке, стараясь найти какие-либо основания для того, чтоб не идти на лекции, – открывается дверь, и эта отвратительная Тереза возглашает с порога басом:

– Бывайте здоровы, пане студент!

– Что вам угодно? – говорю. Вижу – лицо у нее смущенное, просительное... Необычное для нее лицо.

– Видите ли, пане, буду я вас просить об одном деле... уж вы сделайте мне его!

Я лежу, молчу и думаю:

«Подвох! Покушение на мою чистоту, ни больше ни меньше. Крепись, Егор!»

– Нужно бы мне, видите, письмо послать на родину, – говорит она, и так умоляюще, тихо, робко.

«Э, думаю, черт с тобой, изволь!» Встал, сел к столу, взял бумагу и говорю:

– Проходите сюда, садитесь и диктуйте...

Она проходит, осторожно садится на стул и виновато смотрит на меня.

– Ну-с, кому письмо?

– По Варшавской дороге, в город Свенцяны, Болеславу Кашпугу...

– Что писать? Говорите...

– Милый мой Болесь... сердце мое... Мой верный возлюбленный... Да сохранит тебя мать божия! Золотое мое сердце... почему ты так давно не писал своей тоскующей голубке Терезе...

Я чуть-чуть не расхохотался. «Тоскующая голубка» двенадцати вершков роста, с пудовым кулачищем и с такой черной рожей, как будто голубка всю жизнь трубы чистила и ни разу не умывалась! Сдержался кое-как, спрашиваю:

– Он – кто, этот Болесь?

– Болесь, пане студент, – как будто обиделась она на меня за то, что я исковеркал имя. – Он жених мой...

– Жених??!

– А чего же пан так удивился? Разве ж у меня, у девушки, не может быть жениха?

У нее, у девушки?!

– О, почему же! Всё бывает... А давно он ваш жених?..

– Шестой год...

«Ого-го!» – думаю я. Ну, написали мы письмо. Такое, я вам скажу, нежное и любовное, что я бы сам, пожалуй, поменялся местом с этим Болесем, если б корреспонденткой была не Тереза, а что-нибудь другое, поменьше ее.

– Вот, спасибо нам, пане, за услугу! – говорит мне Тереза, кланяясь. – Может, и я могу нам чем послужить?

– Нет, покорно благодарю!

– А может, у пана рубаха или штаны в дырках?

Чувствую, что этот мастодонт и юбке вогнал меня в краску, и довольно резко заявляю, что не нуждаюсь и ее услугах.

Ушла.

Прошло недели две... Вечер. Сажусь под окном и свищу, думая, чем бы мне отвлечь себя от себя. Скучно, погода скверная, идти куда-то не хочется, и от скуки я занимаюсь самоанализом, помню, что тоже довольно-таки скучно, но больше ничего делать не хотелось. Отворяется дверь – слава богу! – кто-то пришел...

– А что, пан студент не займется никаким спешным делом?

Тереза! Гм...

– Нет... а что?

– Хотела бы попросить пана еще письмо написать...

– Извольте... К Болесю?..

– Нет, теперь уж от него...

– Что-о?

– О, глупая женщина! Не так я, пане, сказала, простите! Теперь уж, видите ли, нужно не мне, а одной подруге... то есть, не подруге, а... одному знакомому... Он сам не пишет... а у него есть невеста, как я же вот... Тереза... Так вот, может быть, пан напишет письмо к той Терезе?

Смотрю я на нее – рожка у нее смущенная, пальцы дрожат, путается чего-то – и... догадываюсь!

– Вот что, сударыня, – говорю, – никаких Болесей и Терез у вас нет, и всё это вы врете. А около меня вам не обрыбиться, и в знакомство вступать я с вами не хочу... Поняли?

Она вдруг как-то странно испугалась, растерялась, начала топтаться на одном месте и стала смешно шлепать губами, желая что-то сказать, и ничего не говоря. Я жду, что из всего этого впоследствии, и вижу, и чувствую, что, кажется, немного ошибся, заподозрив ее в желании совратить меня с путей благочестия. Тут как будто бы что-то другое.

– Пан студент, – начала она и вдруг, махнув рукой, круто повернулась к двери и ушла. Я остался с очень скверным чувством на душе, слышу – у нее хлопнула дверь, громко так – рассердилась, видно, бабища... Подумал и решил – пойду к ней и, позвав ее сюда, напишу ей все, что там надо.

Вхожу в ее комнату – вижу, она сидит у стола, облокотилась на него и голову сжала руками.

– Послушайте, – говорю...

...Всегда вот, когда я рассказываю эту историю и дойду до этого места, ужасно нелепо чувствую себя... такая глупость! Д-а...

– Послушайте, – говорю...

Она вскакивает с места, идет на меня, сверкая глазами, и начинает, положив мне руки на плечи, шептать – вернее, гудеть своим басом...

– Ну, что ж? Ну? Так! Нет никакого Болеся, нет... И Терезы тоже нет! А вам что? Вам трудно поводить пером по бумаге, да? Ах, вы! А еще такой... беленький! Никого нет, ни Болеся, ни Терезы, только я одна есть! Ну, что ж! ну?

– Позвольте, – говорю я, ошеломленный этим приемом, – в чем дело? Болеся нет?

- Да, нет! Так что ж?
- А Терезы – тоже нет?
- И Терезы – нет! Я – Тереза!

Ничего не понимаю! Тарашу на нее глаза и пытаюсь определить, кто из нас сошел с ума. А она ушла опять к столу, порылась там, идет ко мне и обиженно говорит:

– Если вам уж так трудно было написать Болесю, то вот оно, ваше писанье, возьмите! А мне и другие напишут...

Вижу – в руке у меня письмо к Болесю. Ф-фу!

– Слушайте, Тереза! Что все это значит? Зачем вам нужно, чтобы писали другие, если я вот написал, а вы его не послали?

- Куда?
- А к этому... к Болесю?
- Да его же нет!

Решительно ничего не понимаю! Оставалось только плюнуть и уйти. Но она объяснилась.

– Что же? – обиженно заговорила она. – Нет его, так и нет! – И развела руками, как бы не понимая – почему же это его нет? – А мне хочется, чтоб он был... Разве ж я не человек, как все? Конечно, я... я знаю... Но ведь никому нет вреда от того, что я пишу ему...

- Позвольте – кому?
- Да Болесю ж!
- Да ведь его нет?

– Ах, Иезус-Мария! Ну что же, что нет, – ну? Нет, а будто бы есть!.. Я пишу к нему, ну, и выходит, как бы он есть... А Тереза – это я, и он мне отвечает, а я опять ему...

Я понял... Мне стало так больно, так скверно, так стыдно чего-то. Рядом со мной, в трех шагах от меня, живет человек, у которого нет на земле никого, кто бы мог отнестись к нему любовно, сердечно, и этот человек выдумывает себе друга!

– Вот вы мне написали письмо к Болесю, а я его дала другому прочитать, и когда мне читают, я слушаю и думаю, что Болесь есть! И прошу написать письмо от Болеся к Терезе... ко мне. Когда такое письмо мне напишут да читают, я уж совсем думаю, что Болесь есть. А от этого мне легче живется...

...Да-с... Черт возьми!.. Ну, я с той поры аккуратнo стал два раза в неделю писать письма к Болесю и ответ от Болеся – Терезе. Хорошо я писал эти ответы... Она, бывало, слушает их и ревет... басом таким редела. И за то, что я вызывал у нее письмами к ней от воображаемого Болеся слезы, она мне бесплатно чинила все дырки на носках, рубашках и прочем... Потом, месяца через три после этой истории, ее посадили за что-то в тюрьму. А теперь она, наверное, умерла».

...Мой знакомый сдунул пепел с папирсы, задумчиво посмотрел в небо и закончил:

«Н-да-с... Чем больше человек вкусил горького, тем свирепее жаждет он сладкого. А мы этого не понимаем, облеченные в наши ветхие добродетели и глядя друг на друга сквозь дымку самомнения и убеждения в нашей всяческой непогрешимости.

Выходит довольно глупо и... очень жестоко. Дескать, падшие люди... А что такое падшие люди? Прежде всего – люди, та же самая кость, кровь, то же мясо и те же нервы, как и у нас. Говорят нам об этом целые века изо дня в день. А мы слушаем и... черт знает как это все нелепо! В сущности, сами-то мы тоже падшие и, пожалуй, очень даже глубоко падшие... в пропасть всяческого самомнения и убеждения в превосходстве наших нервов и мозгов над мозгами и нервами тех людей, которые только менее хитры, чем мы, хуже умеют притворяться хорошими, чем мы притворяемся... А впрочем, будет об этом. Так все это старо... что даже совестно говорить...»

Ярмарка в Голтве

Местечко Голтва стоит на высокой площади, выдвинувшейся в луга, как мыс в море. С трех сторон обрезанная капризным течением Псла, эта ровная площадь открывает широкие горизонты на север, запад и восток, и в южной части ее столпились в живописную группу белые хатки Голтвы, утопающие в зелени тополей, слив и черешен. Из-за хат вздымаются в небо пять глав деревянной церкви, простенькой и тоже белой. Золотые кресты отражают снопы солнечных лучей и, теряя в блеске солнца свои формы, – похожи на факелы, горящие ярким пламенем.

На восток раскинулась равнина обработанных полей – вплоть до горизонта пестреют квадраты, желтые и темные; среди них там и тут стоят пышные, зеленые левады, белые хатки прячутся в садах, дороги вьются меж хлебов, как змеи, стада вдали на выгонах – как игрушечные. На западе площадь крутым обрывом опускается к быстро текущему Пслу; его вода блестит на солнце серебром, на берегах стоят вербы и осоки; за Пслем опять поля до горизонта и опять на них куски яркой зелени, полосы созревшего хлеба и белые пятна хуторов. Хутора, в рамках из тополей и верб, – всюду, куда ни взглянешь... Густо засеяна людьми благодатная земля Украины!

Над громадным пространством, тесно заставленным возами, тысячеголосый говор стоит в воздухе, знойном и пыльном. Всюду толкуются, спорят и «регочут» «чоловіки», горохом рассыпаются бойкие речи «жінок». Десять хохлов в минуту выпускают из себя столько слов, сколько в то же время наговорят трое евреев, а трое евреев скажут в ту же минуту не более одного цыгана. Если сравнивать, то хохла следует применить к пушке, еврея к скорострельному ружью, а цыган – это митральеза. Черные лица, черные волосы и белые хищные зубы цыган так и мелькают в толпе; их характерная, гортанная речь трещит в ушах, – за ней не успеваешь следить. Их проворные движения и жесты красивы, но заставляют опасаться, быстрые темные глаза с синеватыми белками сверкают хитростью и нахальством. Ловкие, гибкие, они являются ласковыми лисицами басен и скалят зубы, как голодные волки. Четверо из них осаждают какого-то «чоловіка», уже сбитого с толку и растерявшегося под градом убедительных речей, осыпающих его немудрую голову. Он стоит среди них, усердно чешет затылок и тяжело соображает. У него на поводу молоденькая лошаденка. Ее осаждают оводы с таким же усердием и жаром, как ее хозяйина – цыгане. Вокруг этой группы толпа, внимательно следящая за ходом сделки.

– Подождіть!... – говорит хохол.

– Не хочу! – восклицает цыган. – Что мне ждять: хйба ж я с того, что подожду, гроши зароблю? Я тебе говорю прямо, как перед богом: моя лошадь такая, что и сам полтавский губернатор на ней поехал бы куда хочешь – хоть в Петербург! Вот на – какая моя лошадь! А что твоя? Только тем она на мою и похожа, что у нее тоже четыре ноги и хвост! А какой у нее хвост? Это стыд, дядько, стыд, а не хвост...

Цыган ожесточенно дергает лошадь за хвост, щупает ее всюду и руками и глазами и всё говорит, говорит. Его товарищи пренебрежительно советуют ему:

– Э, брось! Что тебе хочется в убыток меняться? Вот дурной!.. Брось...

– В убыток? Ну, и буду меняться в убыток! Разве ж я моему коню и карману не хозяин? Мне человек нравится, и я хочу человеку доброе сделать! Дядько! Молитесь господу!..

Хохол снимает шапку, и они оба истово крестятся на церковь.

– Ну, господи благослови! – восклицает цыган. – Берите ж моего коня и помните мое доброе сердце... Берите его и давайте мне пять карбованцев придачи... Вот и всё!.. Кончено!.. Давайте руки...

Хохол из всей силы бьет ладонью по ладони цыгана и говорит:

- Два дам!
- Э! Четыре с половиной!
- Два!

Цыган так шлепнул по руке хохла, что тот потряс ею в воздухе и потом внимательно осмотрел свою ладонь, как бы удостовераясь – цела ли?

- Четыре ровно!
- Два! – упорно стоит на своем хохол.

– Ну, – утомленно говорит цыган, – идите ж теперь к вашей жінке и расскажите ей, какой вы дурень...

- Два! – говорит хохол.
- Вот что, – молитесь богу!

Снова молятся и снова бьют руки друг друга.

– Ну, берите же на свое счастье, мне в убыток: не хочу я с вас, добрый человек, лишних грошей брать, коли нет их у вас в кармане... Даете три с полтиной?

- Ни, – качает головой хохол, оглядывая лошадь цыгана, понурю и шершавую.
- Три с четвертью?
- Ни...

– Чтоб ваша жінка сказала вам сто раз «ни», когда вы у нее борща попросите! Даете три гладких карбованца? И то не даете? Так берите ж за вашу цену. Э, пропали мои гроши и конь хороший!

Лошадей передают из полы в полу, и хохол уходит, ведя на поводу выменянную крупную рыжую кобылу, равнодушно переступающую разбитыми ногами. Морда у нее печальная, и уныло смотрят ее тусклые глаза на толпу людей.

Скоро хохол возвращается назад. Он идет торопливо, так что лошадь едва поспевает за ним; лицо у него сконфуженное и растерянное. Цыгане смотрят навстречу ему спокойно и разговаривают о чем-то на своем странном языке.

- Це діло не законно, – покачивая головой, говорит хохол, подходя к ним.
- Какое дело? – осведомляется один из цыган.
- А це... Як же вы мені...
- А что мы тобі?..
- Подождіть!... Як же...
- А як же?
- Да подождіть же!

– А чего ждать? Когда кобыла родит? Да ты ж, дядько, еще и не венчался с ней!

В толпе хохот. Бедняга хохол апеллирует к ней.

– Добрые люди – ратуйте! Воны мені беззубу коняку на місто моей зубатой наміняли!

Толпа не любит неловких так же, как и слабых. Она становится на сторону цыган...

– А де ж у тебе очи булы? – спрашивает хохла сивый старик.

– Не май з цыганами діла! – поучительно заявляет другой.

Обманутый рассказывает, что он смотрел зубы у коня, но на верхние не обратил внимания, а из них три оказываются сломанными. Должно быть, коня когда-то сильно ударили по морде и сломали ему три зуба. Куда он годится такой? Он есть не может, – вон у него какой вздутый живот. Человека два-три из толпы начинают защищать хохла. Возникает гвалт, и громче всех кричит, не уставая, цыган...

– Э, добрый чоловік! чого ж ты затіяв таку заворуху? Хиба ты не знаєшь, як треба конів купувати? Коні купувати – як жінку вибирати, все одно, таке ж важне діло... Слухай, я тобі скажу одну казку... Як булы на світі три братика, двое розумні, а третій дурень – ось як ты або ж я...

Товарищи цыгана тоже орут во всю глотку, оправдывая его; хохлы лениво ругаются в ответ; толпа становится всё гуще и теснее...

– Що ж мені зостається, добрі люди? – горестно вопрошает обиженный.

– Ходы до урядника! – кричат ему.

– А и пойду! – решает он.

– Стой, чоловіче! – останавливает его цыган. – Разорить меня хочешь? Разорь! Давай мне три карбованца – я твою лошадь назад виддам! Желает? Давай два! Желает? Ну, иди и жалуйся...

Хохлу не особенно приятно «тягать к ділу» урядника, и он задумывается. Со всех сторон ему дают советы, но он остается глух и нем, решая что-то про себя. Наконец решил...

– Ну, от що, – уныло говорит он цыгану, – нехай бог тебя судит... Отдай мені моего коня, а два карбованца, що ты в придачу узял, – твои... Триста трясців тобі у боки – грабь!

И цыган ограбил его с таким видом, точно великую милость ему оказал.

– Догодливі люди! – похваливали «чоловіки» цыган, отходя от них.

– Деготь московский, атличный, фабричный, аккуратный, аппаратный, пахучий, тягучий! Шесть копеек кварта, пятнадцать четверть! – возглашает черниговец, восседающий на телеге. Телега, бочка и сам торговец – все это черно и жирно от дегтя и всё двигается одной сплошной массой, распространяя вокруг себя характерный аромат.

– А, мабуть, и по пять за кварту продадите? – спрашивается у дегтярника «чоловік» в необычайно широких штанах и в соломенной шляпе на голове.

– Тпру-у! По пять не могу, хозяину на шесть копеек присягал...

– А, мабуть, можно по пять?

– Никак...

– Эге... Зовсім не можно?

– Слушай, дядько, продам тебе по пять, не говори только никому... Не скажешь?

– Ни, не скажу...

– Ну, давай баклажку.

– На що?

– А на деготь!

– Та мені того вашего дегтя не треба, бо я вже купив... И теж по шість копійек и теж у вас... Я спросив вас за тим, що, мабуть, вы тепереш дешевше виддаєте цей деготь.

Дегтярник молча отвертывается, трогает лошадь и едет между возов, возглашая о своем товаре... «Чоловік» провожает его взглядом и говорит другому, раскинувшемуся на возу:

– Коли б я не куповал кварталы дегтя утром, была бы в мене копійка лишня у кишень...

– Эге ж... Жарко!

– Як у пекли...

– Хиба ж твой батько писав тобі з пекла, як там жарко? – спрашивают с воза.

Томящий зной всё усиливается. Запах дегтя, навоза и пота висит в воздухе вместе с тонкой пеленой едкой пыли. Всюду у возов стоят и лежат волы, жуют, не уставая, сено и смотрят в землю большими добрыми глазами. Кажется, что они думают: у них такие осмысленные морды и в глазах светится спокойная, привычная печаль. Мычат коровы и телята, блеют овцы, раздаётся звон кос, пробуемых покупателями. «Чоловіки», приехавшие продавать скот или руно, лежат под возами, скрываясь от солнца и ожидая покупателей. «Чоловіки» покупающие расхаживают между возами, высматривая скот и шагая через ноги продавцов, разбросанные на земле. У каждого покупателя в руке кнут, и, подходя к волам, покупатель считает нужным вытянуть смиренную скотину по боку кнутом. Волы медленно поднимаются на ноги, если они лежали, и тяжело двигаются от удара, если стояли на ногах.

– Скільки за цю пару просите? – спрашиває покупатель пространство...

Из-под воза раздаётся неторопливый ответ:

– Девяносто рублів...

– И то гроши! – говорит покупатель и отходит или спрашивает:

– А чего ж бы вам, дядько, цілу сотнягу не просить?

– Та вже мені більш того, скільки треба, – не треба грошей. А коли вы вже такий добрый, то давайте и усю сотню – я візьму...

– Спасибо вам... А скільки ж бы ділом узяли?

– Та вже так, щоб не довго балакати, візьму я с вас... девяносто рублів...

Начинается торг. «Чоловіки» не торопятся, – это совсем не в их характере, – и продавец вылезает из-под воза не ранее того, как убедится, что покупатель серьезный. Понемногу горячатся и вот уже бьют друг друга по рукам, молятся по десяти раз и более, расходятся, снова сходятся. Всё делается медленно, но основательно, вдумчиво. Ядреной и крутой ругани великоруссов, от которой дух в груди спирает и глаза на лоб лезут, не слышно, – ее заменяет меткий юмор, щедро украшающий речи. Не слышно и великорусского «тыканья». Сивый дід, у которого безусый хлопец торгует пару молоденьких бычков, так, например, отчитывает покупателя:

– Здається мені, что вы, хлопче, раненько маткину цицьку на люльку зміняли, бо разума у річах ваших не бачу я...

– Та як же, діду! Воны и некрасиви – ось роги якіе...

– А хіба ж вы рогами пахати будете? Так купуйте ж собі козлів: у них рога красивейши...

Сыны Израиля вертятся меж возов, как выюны. Они обо всем спрашивают, всё шупают и всё покупают. «Чоловіки» говорят им «ты» и смотрят за ними во все глаза. Паны встречаются с «чоловіками» с чувством собственного достоинства, и в разговоре с паном у хохла сквозь внешнюю почтительность пробивается не одна нотка пренебрежения. Видно, что пан давно уже определен как «ненужна козявка у пчелином роі».

У одного из возов корова, привязанная к нему, вдруг зашаталась и в корчах повалилась на землю. «Жінка», продававшая ее, соскочила с воза и закрутилась вокруг больного животного, как в вихре. Испуг, граничащий с ужасом, выразился на лице бедной женщины, сразу лишившейся надежды продать свою скотину.

– Ой, господи! Ой, добри люди! Ратуйте – що воно таке? Що воно? Ой, мати пречистая!

Сразу выросла толпа и принялась горячо обсуждать несчастье. Делали предположения, отчего именно заболела корова и как всего лучше лечить ее. Явился какой-то древний старик, весь, точно плесенью, покрытый лохмотьями, и начал отчитывать корову, творя шепотом молитву. Толпа поснимала шапки и молча ждала результатов моления, изредка крестясь. А корова билась на земле в судорогах, пыталась встать и снова грузно падала. Она тяжело вздыхала, и много боли было в ее кротких глазах. Потом ее хозяин, сняв с головы шапку, стал ею растирать хребет животного, трижды обвел шапкой вокруг рогов, трижды вокруг шеи и столько же вокруг хвоста. И это не помогло. Принесли бутылку дегтя и вылили в глотку животного, потом угостили его скипидаром, наконец явился коновал, угрюмый мужик, с разнообразными инструментами у пояса. Он важно осмотрел корову и пробил ей каким-то ржавым гвоздем вену на шее. Тонкими струйками хлынула густая, черная кровь. Какой-то моралист нашелся в толпе. Он посмотрел на корову и ее хозяина, убитого горем, и сказал:

– От це вам, дядько, божие наказание... Здаєтца мені, що хотели вы утаиты, яка вона ваша корова... И открыв господь людям вашу думку... От як!

Хохол посмотрел на него и грустно покачал головой.

– Бог мою думку знає... – вздохнул он.

А рядом с этой сценой разыгрывается другая. «Жінка», размахивая руками, как поломанная мельница крыльями, бранит своего «чоловіка». Он сидит на земле, упираясь в нее руками, и блаженно улыбается. Нос у него красный, сияющий, шапка на затылке, ворот рубахи развязался, и солнце бьет ему прямо в грудь и лицо.

– Голодранец ты! Хіба ж морді твоїй не стыдно? Э-э, шибеник! Визьму кнут, та як учну стегать...

– Оле-ена! Утыхо-о-омырся-а! – тянет «чоловік», подмигивая жінке. – Слухай... Я и тобі пивкварти купив.

– О-о! – стонет жінка. – Бесстыжи очи!

Наклонясь к мужу, она с великим трудом приподнимает его с земли и старается засунуть это расслабленное хмелем тело под воз. «Чоловік» стучается головой о колесо и предупреждает жену:

– У кармані штанів скляница... то як бы и... и вона не побилась... э?

Через минуту они оба дружелюбно распивают «пивкварти», и добрая, хотя строгая, супруга уже обложила своего благоверного сеном и одеждой так, что он мог свалиться в любую сторону без риска удариться своей головой о колесо.

Молоденький еврей с ящиком на груди ходит и кричит:

– Роменский табак! Панский табак! Крепчайший табак! Черт курил – дымом жінку умирал.

– От це добрый табачино, коли з его жінки мрут! – замечает какой-то Солопий Черевик.

В центре ярмарки два длинных ряда палаток образуют широкую улицу, сплошь набитую народом. Под одним из полотняных навесов приютился еврей с рулеткой. Его окружает плотная толпа преимущественно молодежи, и из нее то и дело раздаются то угрюмые, то возбужденные голоса:

– Красна! Черна! Чет!

В стороне бледный и встревоженный парубок уговаривает другого:

– Онисиме! Дай же мені карбованец! Бо я, мабуть, и ворочу мои гроши... О, не грать бы мені в ту бісову штуку... Вертыться, вертыться – та и выверне твои карманці...

Остробородый ярославец торгует гребешками, ножичками, книжками, мылом...

– Паж-жалуйте-с! Заграничные товары! Столичные книги! Благовонные мыла! Небесные духи! Молодой юноша! – позвольте вам предложить книжечку для приятного чтения-с? Не угодно ли подробно рассмотреть, очень занимательная история – смерть господина Ивана Ильича, сочинение графа Толстого. При сем же веселая комедия – «Плоды просвещения». Очень тонко осмеяны господа столичные и русские мужики. Продаю за двадцать копеек-с! Графское сочинение – за двугривенный, дешевле никто не продаст! А вот еще не пожелаете ли – «Князь Серебряный»? Про царя Ивана Грозного... по случаю того, как эта книжечка уже читана, – за тридцать пять копеек отдам! Стихи поэта Пушкина-с – по пятаку и по три копейки книжка... Прекрасные стихи самого веселого содержания... «Андрей Бесстрашный, русская повесть»... цена три копейки. «Япанча, татарский наездник, взятие города Казани». О разведении кур – не желаете ли просветиться? Пять копеек цена... Машинка для усов – извольте-с! «Житие иже во святых отца нашего»... Красавица! Купите зеркальце? Душистое мыло есть... Чего-с? За Ивана Ильича гривенник? Напечатано на книжке – двадцать. За гривенник могу продать вот-с «Еврейские рассказы»... Тетка! Ты так гребень ломаешь... Почтенный! купите бритву? «Загробная жизнь, или О том, что ждет душу нашу по смерти»... Весьма полезно знать – цена полтина! Не желаете? «Болезни домашних животных» – полюбопытствуйте! «Веретягианская кухня»... А то вот часики продаю: серебро – как золото, ход самый правильный, цена дешевая... Почтеннейший – мыльца для дочки не желаете ли приобрести?... Последнее слово, милый: за Ивана Ильича – восемнадцать копеек...

Ни одной секунды не молчит этот сухой и поджарый ярославец, продающий сразу двум десяткам покупателей. Его звонкий голос издали влечет к нему народ, и около его лавочки тесная толпа. Одни покупают, другие просто смотрят на продавца и слушают его бойкую, рассыпчатую речь. Здоровенный усатый хохол долго тарашил на ярославца большие выпуклые глаза и вдруг расхохотался.

– Чого вы, пане, регочете? – спросил его сосед.

– Та ось він, цей москаль, нехай ему, бісову сину, гадюка у глотку влізе... Він зовсім як та молотилка роботає. Доброму чоловіку у місяць стільки не сказати, як він у час каже...

А у возов с глиняной посудой на Опошни, – посудой, замечательной по рисункам, но грубоватой по исполнению, – торгуют хохлы. Здесь не торопятся. Вот какая-то разомлевшая от жары женщина с зонтиком в руках подходит, берет макитру – подобие великорусской корчаги – и, рассмотрев ее, спрашивает:

– Скильки грошей?

– За що? – осведомляется продавец, возлежащий под возом на брюхе.

– А за макитру...

– Тридцать пять копійек...

– О, лишечко! та то дуже дорого!

– Хиба ж?

– А звисно! Вон она неровна та корява...

– А що ж вы, пани, с цей макитры стрелять хочеге чи що? Зачим ей буты ровной? Не ружье вона, а макитра.

– Та воно вірно... Ще и не гладка вона та и тускла яка-то...

– Так же то зеркало гладко та блестяще, зеркало, а не макитра...

– Вона и дребезжит...

– О? То значится – в ней дирка е.

– То-то е дирка...

– Так вже світ устроєн, пани, что у ним усе диряво... Вон и у вас, пани, хусточка з диркой...

Пани краснеет и оправляет платок на груди...

– А вы, пани, подивітеся, може и знайдете крепку макитру.

Пани смотрит макитры, а продавец, неподвижно лежа под возом, смотрит на нее...

– Будьте милостивы, скажите мені – от така хороша? – показывает пани выбранную посудину.

– Це? Зо всих наилучша...

Начинают торговаться. Это длится долго, часто прерываясь паузами, во время которых женщина выдумывает всё новые и новые недостатки макитры, а торговец наслаждается покоем в тени воза. Бойчее торгуют «жінки». Они продают какое-то розовое питье, вишни и тарань. Этой рыбы целые вороха лежат на земле, и, так как ее здесь очень любят, она покупается хорошо. Звонкие голоса женщин так и режут уши.

– Рыба черноморска, керченска, вкусна та солена!

– А вот ще наилучша рыба!

Вечереет. Солнце уже низко над лугами, и пыль, тучей стоящая над ярмаркой, кажется розовой в лучах заката. Гонят скотину на Псел, раздаются мычание, суровые окрики, кое-где налаживаются песни. Веселые звуки сопилки несутся со стороны погоста. Там, у земляного вала, ограждающего ниву опочивших, собралась толпа хлопцев и, не обращая никакого внимания на «дідові могили», собираются «танцювати» в виду их.

Тополя на погосте тихо качают вершинами, точно протестуя против нарушения мира и тишины в месте упокоения.

А тепери я велька,
Треб-ба мені чоловіка...

– распевают двое пьяных, идя к погосту. Они толкают друг друга плечами и качаются на ногах, как надломленные. У обоих блаженные красные лица, оба они охрипли от усилий петь согласно: один сдвинул шапку на ухо, а другой держит ее в руке и дирижирует ею, не замечая, что из нее вылезли и болтаются в воздухе какие-то тряпки и куски пеньки. От погоста навстречу им несется дробный топот ног, с жаром выбивающих гопака, и задорные звуки сопилки. Тени от возов становятся всё длиннее. Жара спадает. С лугов тянет запахом свежескошенного сена. Солнце село, и на небе задумчиво замерли легкие облака, еще розовые от заката. Шум понемногу стихает; люди, изморенные хлопотами и зноем дня, вкладываются спать на воздухе и под возами. Тяжело дышат волы, пережевывая сено; фыркают лошади.

Теперь уже все звуки разрознены и ясно слышны, они не сливаются в тот гул, что оглушал и опьянял в течение дня. Вот раздается торжественная музыка. Около слепого, играющего на фисгармонике, толпа молчаливых людей стоит без шапок и благоговейно слушает музыку.

– Господа сим восхва-а-лим и возблагодарим творца на-а-шего, – поет слепой, аккомпанируя себе на звучном инструменте. Густые и успокаивающие ноты печально выются в воздухе над головами молитвенно настроенных людей, покрытых потом и пылью. Иные шепчут что-то – видно, как шевелятся их губы, иные вздыхают... Большинство немо, неподвижно и глубоко серьезно.

А со стороны погоста несется удалая песня, исполняемая могучим хором молодых голосов: «Гей-гей!» – гремит припев.

Слышно, что эта песня складывалась в широкой степи, верхом на конях, во время похода, старыми свобододолюбивыми «лыцарями», проливавшими свою бурную и горячую кровь «за віру християнську та вольності козачи»...

– Пойте славу бога нашег-о-о... яко он творец мира и прибежище челове-е-ков, в нем же обрящем упокоение... – поет и играет слепой.

Ночь идет.

Кое-где уже вспыхнули огоньки костров, и вокруг них видны фигуры людей, красноватые в блеске огня. Приятной свежестью веет с лугов, где Псел, темный, красивый и быстрый, стремительно спешит к Днепру и с ним – в море. Вспыхивают звезды...

Ночь идет.

1897

Бывшие люди

I

Въезжая улица – это два ряда одноэтажных лачужек, тесно прижавшихся друг к другу, ветхих, с кривыми стенами и перекошенными окнами; дырявые крыши изувеченных временем человеческих жилищ испещрены заплатами из лубков, поросли мхом; над ними кое-где торчат высокие шесты со скворешницами, их осеняет пыльная зелень бузины и корявых ветел – жалкая флора городских окраин, населенных беднотою.

Мутно-зеленые от старости стекла окон домишек смотрят друг на друга взглядами трусливых жуликов. Посреди улицы ползет в гору извилистая колея, лавируя между глубоких рытвин, промытых дождями. Кое-где лежат поросшие бурьяном кучи щебня и разного мусора – это остатки или начала тех сооружений, которые безуспешно предпринимались обывателями в борьбе с потоками дождевой воды, стремительно стекавшей из города. Вверху, на горе, в пышной зелени густых садов прячутся красивые каменные дома, колокольни церквей гордо вздымаются в голубое небо, их золотые кресты ослепительно блестят на солнце.

В дожди город спускает на Въезжую улицу свою грязь, в сухое время осыпает ее пылью, – и все эти уродливые домики кажутся тоже сброшенными оттуда, сверху, сметенными, как мусор, чьей-то могучей рукой.

Приплюснутые к земле, они усеяли собой всю гору, полугнилые, немощные, окрашенные солнцем, пылью и дождями в тот серовато-грязный колорит, который принимает дерево в старости.

В конце этой улицы, выброшенный из города под гору, стоял длинный двухэтажный выморочный дом купца Петунникова. Он крайний в порядке, он уже под горой, дальше за ним широко разворачивается поле, обрезанное в полуверсте крутым обрывом к реке.

Большой старый дом имел самую мрачную физиономию среди своих соседей. Весь он покривился, в двух рядах его окон не было ни одного, сохранившего правильную форму, и осколки стекол в изломанных рамах имели зеленовато-мутный цвет болотной воды.

Простенки между окон испещряли трещины и темные пятна отвалившейся штукатурки – точно время иероглифами написало на стенах дома его биографию. Крыша, наклонившаяся на улицу, еще более увеличивала его плачевный вид – казалось, что дом нагнулся к земле и покорно ждет от судьбы последнего удара, который превратит его в бесформенную груду полугнилых обломков.

Ворота открыты – одна половинка их, сорванная с петель, лежит на земле, и в щели, между ее досками, проросла трава, густо покрывшая большой, пустынный двор дома. В глубине двора – низенькое закопченное здание с железной крышей на один скат. Самый дом необитаем, но в этом здании, раньше кузнице, теперь помещалась «ночлежка», содержащая ротмистром в отставке Аристидом Фомичом Кувалдой.

Внутри ночлежка – длинная, мрачная нора, размером в четыре и шесть сажен; она освещалась – только с одной стороны – четырьмя маленькими окнами и широкой дверью. Кирпичные, нештукатуренные стены ее черны от копоти, потолок, из барочного днища, тоже прокоптел до черноты; посреди ее помещалась громадная печь, основанием которой служил горн, а вокруг печи и по стенам шли широкие нары с кучками всякой рухляди, служившей ночлежникам постелями. От стен пахло дымом, от земляного пола – сыростью, от нары – гниющим тряпьем.

Помещение хозяина ночлежки находилось на печи, нары вокруг печи были почетным местом, и на них размещались те ночлежники, которые пользовались благоволением и дружбой хозяина.

День ротмистр всегда проводил у двери в ночлежку, сидя в некотором подобии кресла, собственноручно сложенного им из кирпичей, или же в харчевне Егора Вавилова, находившейся наискось от дома Петунникова; там ротмистр обедал и пил водку.

Перед тем, как снять это помещение, Аристид Кувалда имел в городе бюро для рекомендации прислуги; восходя выше в его прошлое, можно было узнать, что он имел типографию, а до типографии он, по его словам, – «просто – жил! И славно жил, черт возьми! Умеючи жил, могу сказать!».

Это был широкоплечий высокий человек лет пятидесяти, с рябым, опухшим от пьянства лицом, в широкой грязно-желтой бороде. Глаза у него серые, огромные, дерзко веселые; говорил он басом, с рокотаньем в горле, и почти всегда в зубах его торчала немецкая фарфоровая трубка с выгнутым чубуком. Когда он сердился, ноздри большого, горбатого, красного носа широко раздувались и губы вздрагивали, обнажая два ряда крупных, как у волка, желтых зубов. Длиннорукий, колченогий, одетый в грязную и рваную офицерскую шинель, в сальной фуражке с красным околышем, но без козырька, в худых валенках, доходивших ему до колен, – поутру он неизменно был в тяжелом состоянии похмелья, а вечером – навеселе. Допьяна он не мог напиться, сколько бы ни выпил, и веселого расположения духа никогда не терял.

Вечерами, сидя в своем кирпичном кресле с трубкой в зубах, он принимал постояльцев.

– Что за человек? – спрашивал он у подходившего к нему рваного и угнетенного субъекта, сброшенного из города за пьянство или по какой-нибудь другой основательной причине опустившегося вниз.

Человек отвечал.

– Представь в подтверждение твоего вранья законную бумагу.

Бумага представлялась, если была. Ротмистр совал ее за пазуху, редко интересуясь ее содержанием, и говорил:

– Всё в порядке. За ночь – две копейки, за неделю – гривенник, за месяц – три гривенника. Ступай и займи себе место, да смотри – не чужое, а то тебя вздуют. У меня живут люди строгие...

Новички спрашивали его:

– А чаем, хлебом или чем съестным не торгуете?

– Я торгую только стеной и крышей, за что сам плачу мошеннику – хозяину этой дыры, купцу 2-й гильдии Иуде Петунникову, пять целковых в месяц, – объяснял Кувалда деловым тоном, – ко мне идет народ, к роскоши непривычный... а если ты привык каждый день жрать – вон напротив харчевня. Но лучше, если ты, обломок, отучишься от этой дурной привычки. Ведь ты не барин – значит, что ты ешь? Сам себя ешь!

За такие речи, произносимые деланно строгим тоном, но всегда со смеющимися глазами, за внимательное отношение к своим постояльцам ротмистр пользовался среди городской голи широкой популярностью. Часто случалось, что бывший клиент ротмистра являлся на двор к нему уже не рваный и угнетенный, а в более или менее приличном виде и с бодрым лицом.

– Здравствуйте, ваше благородие! Каковенько поживаете?

– Здорово. Жив. Говори дальше.

– Не узнали?

– Не узнал.

– А помните, я у вас зимой жил с месяц... когда еще облава-то была и трех забрали?

– Н-ну, брат, под моей гостеприимной кровлей то и дело полиция бывает!

– Ах ты, господи! Еще вы тогда частному приставу кукиш показали!

– Погоди, ты плюнь на воспоминания и говори просто, что тебе нужно?

– Не желаете ли принять от меня угощение махонькое? Как я о ту пору у вас жил, и вы мне, значит...

– Благодарность должна быть поощряема, друг мой, ибо она у людей редко встречается. Ты, должно быть, славный малый, и хоть я совсем тебя не помню, но в кабаке с тобой пойду с удовольствием и напьюсь за твои успехи в жизни с наслаждением.

– А вы всё такой же – всё шутите?

– Да что же еще можно делать, живя среди вас, горюнов?

Они шли. Иногда бывший клиент ротмистра, весь развинченный и расшатанный угощением, возвращался в ночлежку; на другой день они снова угощались, и в одно прекрасное утро бывший клиент просыпался с сознанием, что он вновь пропился дотла.

– Ваше благородие! Вот те и раз! Опять я к вам в команду попал? Как же теперь?

– Положение, которым нельзя похвалиться, но, находясь в нем, не следует и скулить, – резонировал ротмистр. – Нужно, друг мой, ко всему относиться равнодушно, не портя себе жизни философией и не ставя никаких вопросов. Философствовать всегда глупо, философствовать с похмелья – невыразимо глупо. Похмелье требует водки, а не угрызения совести и скрежета зубного... зубы береги, а то тебя бить не по чему будет. На-ка, вот тебе двугривенный, – иди и принеси косушку водки, на пятак горячего рубца или легкого, фунт хлеба и два огурца. Когда мы опохмелимся, тогда и взвесим положение дел...

Положение дел определялось вполне точно дня через два, когда у ротмистра не оказывалось ни гроша от трешницы или пятишницы, которая была у него в кармане в день появления благодарного клиента.

– Приехали! Баста! – говорил ротмистр. – Теперь, когда мы с тобой, дурак, пропились вполне совершенно, попытаемся снова вступить на путь трезвости и добродетели. Справедливо сказано: не согрешив – не покаешься, не покайся – не спасешься. Первое мы исполнили, но каяться бесполезно, давай же прямо спасаться. Отправляйся на реку и работай. Если не ручаешься за себя – скажи подрядчику, чтоб он твои деньги удерживал, а то отдавай их мне. Когда накопим капитал, я куплю тебе штаны и прочее, что нужно для того, чтобы ты вновь мог сойти за порядочного человека и скромного труженика, гонимого судьбой. В хороших штанах ты снова можешь далеко уйти. Марш!

Клиент отправлялся крючничать на реку, посмеиваясь над речами ротмистра. Он неясно понимал их соль, но видел перед собой веселые глаза, чувствовал бодрый дух и знал, что в красноречивом ротмистре он имел руку, которая, в случае надобности, может поддержать его.

И действительно, чрез месяц-два какой-нибудь каторжной работы клиент, по милости строгого надзора за его поведением со стороны ротмистра, имел материальную возможность вновь подняться на ступеньку выше того места, куда он опустился при благосклонном участии того же ротмистра.

– Н-ну, друг мой, – критически осматривая реставрированного клиента, говорил Кувалда, – штаны и пиджак у нас есть. Это вещи громадного значения – верь моему опыту. Пока у меня были приличные штаны, я играл в городе роль порядочного человека, но, черт возьми, как только штаны с меня слезли, так я упал в мнении людей и должен был скатиться сюда из города. Люди, мой прекрасный болван, судят о всех вещах по их форме, сущность же вещей им недоступна по причине врожденной людям глупости. Заруби это себе на носу и, уплатив мне хотя половину твоего долга, с миром иди, ищи и да обрящешь!

– Я вам, Аристид Фомич, сколько состою? – смущенно осведомлялся клиент.

– Рубль и семь гривен... Теперь дай мне рубль или семь гривен, а остальные я подожду на тебе до поры, пока ты не украдешь или не заработаешь больше того, что ты теперь имеешь.

– Покорнейше благодарю за ласку! – говорит тронутый клиент. – Экой вы, – добряга! право! Эх, напрасно вас жизнь скрутила... Какой, чай, вы орел были на своем-то месте?!

Ротмистр жить не может без витиеватых речей.

– Что значит – на своем месте? Никто не знает своего настоящего места в жизни, и каждый из нас лезет не в свой хомут. Купцу Иуде Петунникову место в каторжных работах, а он ходит среди бела дня по улицам и даже хочет строить какой-то завод. Учителю нашему место около хорошей бабы и среди полдюжины ребят, а он валяется у Вавилова в кабаке. Вот и ты – ты идешь искать место лакея или коридорного, а я вижу, что твое место в солдатах, ибо ты неглуп, вынослив и понимаешь дисциплину. Видишь – какая штука? Нас жизнь тасует, как карты, и только случайно – и то ненадолго – мы попадаем на свое место!

Иногда подобные прощальные беседы служили предисловием к продолжению знакомства, которое снова начиналось доброй выпивкой и снова доходило до того, что клиент пропивался и изумлялся, ротмистр давал ему реванш, и... пропивались оба.

Такие повторения предыдущего ничуть не портили добрых отношений между сторонами. Упомянутый ротмистром учитель был именно одним из тех клиентов, которые чинились лишь затем, чтобы тотчас же разрушиться. По своему интеллекту это был человек, ближе всех других стоявший к ротмистру, и, быть может, именно этой причине он был обязан тем, что, опустившись до ночлежки, уже более не мог подняться.

С ним Кувалда мог философствовать в уверенности, что его понимают. Он ценил это, и когда поправленный учитель готовился оставить ночлежку, заработав деньжонок и имея намерение снять себе в городе угол, – Аристид Кувалда так грустно провожал его, так много изрекал меланхолических тирад, что оба они непременно напивались и пропивались. Вероятно, Кувалда сознательно ставил дело так, что учитель при всем желании не мог выбраться из его ночлежки. Можно ли было Кувалде, человеку с образованием, осколки которого и теперь еще блестели в его речах, с развитой превратностями судьбы привычкой мыслить, – можно ли было ему не желать и не стараться всегда видеть рядом с собой человека, подобного ему? Мы умеем жалеть себя.

Этот учитель когда-то что-то преподавал в учительском институте приволжского города, но был устранен из института. Потом он служил конторщиком на кожевенном заводе, библиотекарем, изведаль еще несколько профессий, наконец, сдав экзамен на частного поверенного по судебным делам, запил горькую и попал к ротмистру. Был он высокий, сутулый, с длинным острым носом и лысым черепом. На костлявом, желтом лице с клинообразной бородкой блестели беспокойно глаза, глубоко ввалившиеся в орбиты, углы рта были печально опущены книзу. Средства к жизни или, вернее, к пьянству он добывал репортерством в местных газетах. Случалось, что он зарабатывал в неделю рублей пятнадцать. Тогда он отдавал их ротмистру и говорил:

– Будет! Я возвращаюсь в лоно культуры.

– Похвально! Сочувствуя от души твоему, Филипп, решению, я не дам тебе ни рюмки! – строго предупреждал его ротмистр.

– Буду благодарен!..

Ротмистр слышал в его словах что-то близкое к робкой мольбе о послаблении и еще строже говорил:

– Хоть реви – не дам!

– Ну, и – конечно! – вздыхал учитель и отправлялся на репортаж. А через день, много через два, он, жаждущий, смотрел на ротмистра откуда-нибудь из угла тоскливыми и умоляющими глазами и трепетно ждал, когда смягчится сердце друга. Ротмистр произносил пропитанные убийственной иронией речи о позоре слабохарактерности, о скотском наслаждении пьянства и на другие, приличные случаю, темы. Надо отдать ему справедливость – он вполне искренно увлекался своей ролью ментора и моралиста; но настроенные скептически завсегда-таи ночлежки, следя за ротмистром и слушая его карающие речи, говорили друг другу, подмигивая в его сторону:

– Химик! Ловко отбояривается! Дескать, я тебе говорил, ты меня не слушал – пеняй на себя!

– Его благородие настоящий воин – вперед идет, а уже назад дорогу ищет!

Учитель ловил своего друга где-нибудь в темном углу и, вцепившись в его грязную шинель, дрожащий, облизывая сухие губы, не выразимым словами, глубоко трагическим взглядом смотрел в его лицо.

– Не можешь? – угрюмо спрашивал ротмистр. Учитель утвердительно кивал головой.

– Потерпи еще день, – может быть, справишься? – предлагал Кувалда.

Учитель тряс головой отрицательно. Ротмистр видел, что худое тело друга всё трепещет от жажды яда, и доставал из кармана деньги.

– В большинстве случаев бесполезно спорить с роком, – говорил он при этом, точно желая оправдать себя перед кем-то.

Учитель не все свои деньги пропивал; по крайней мере половину их он тратил на детей Въезжей улицы. Бедняки всегда детьми богаты; на этой улице, в ее пыли и ямах, с утра до вечера шумно возились кучи оборванных, грязных и полуголодных ребятишек.

Дети – живые цветы земли, но на Въезжей улице они имели вид цветов, преждевременно увядших.

Учитель собирал их вокруг себя и, накупив булок, яиц, яблоков и орехов, шел с ними в поле, к реке. Там они сначала жадно поедали всё, что предлагал им учитель, а потом играли, наполняя воздух на целую версту вокруг себя шумом и смехом. Длинная фигура пьяницы как-то съеживалась среди маленьких людей, они относились к нему, как к своему однокласснику, и звали его просто Филиппом, не добавляя к имени дядя или дядюшка. Вертась около него, как выюны, они толкали его, вскакивали к нему на спину, хлопали его по лысине, хватали за нос. Всё это, должно быть, нравилось ему, он не протестовал против таких вольностей. Он вообще мало разговаривал с ними, а если и говорил, то осторожно и робко, точно боялся, что его слова могут выпачкать их или вообще повредить им. Он проводил с ними, в роли их игрушки и товарища, по несколько часов кряду, рассматривая оживленные рожицы тоскливо-грустными глазами, а потом задумчиво шел в харчевню Вавилова и там молча напивался до потери сознания.

Почти каждый день, возвращаясь с репортажа, учитель приносил с собой газету, и около него устраивалось общее собрание всех бывших людей. Они двигались к нему, выпившие или страдавшие с похмелья, разнообразно растрепанные, но одинаково жалкие и грязные.

Шел толстый, как бочка, Алексей Максимович Симцов, бывший лесничий, а ныне торговец спичками, чернилами, ваксой, старик лет шестидесяти, в парусиновом пальто и в широкой шляпе, прикрывавшей измятыми полями его толстое и красное лицо с белой густой бородой, из которой на свет божий весело смотрел маленький пунцовый нос и блестели слезящиеся циничные глазки. Его прозвали Кубарь – прозвище метко очерчивало его круглую фигуру и речь, похожую на жужжание.

Вылезал откуда-нибудь из угла Конец – мрачный, молчаливый, черный пьяница, бывший тюремный смотритель Лука Антонович Мартыанов, человек, существовавший игрой «в ремешок», «в три листика», «в банковку» и прочими искусствами, столь же остроумными и одинаково нелюбимыми полицией. Он грузно опускал свое большое, жестоко битое тело на траву, рядом с учителем, сверкал черными глазами и, простирая руку к бутылке, хриплым басом спрашивал:

– Могу?

Являлся механик Павел Солнцев, чахоточный человек лет тридцати. Левый бок у него был перебит в драке, лицо, желтое и острое, как у лисицы, кривилось в ехидную улыбку. Тонкие губы открывали два ряда черных, разрушенных болезнью зубов, лохмотья на его узких и костлявых плечах болтались, как на вешалке. Его прозвали Обьедок. Он промышлял торгов-

лей мочальными щетками собственной фабрикации и вениками из какой-то особенной травы, очень удобными для чистки платья.

Приходил высокий, костлявый и кривой на левый глаз человек, с испуганным выражением в больших круглых глазах, молчаливый, робкий, трижды сидевший за кражи по приговорам мирового и окружного судов. Фамилия его была Кисельников, но его звали Полтора Тараса, потому что он был как раз на полроста выше своего неразлучного друга дьякона Тараса, раструженного за пьянство и развратное поведение. Дьякон был низенький и коренастый человек с богатырской грудью и круглой, кудластой головой. Он удивительно хорошо плясал и еще удивительнее сквернословил. Они вместе с Полтора Тарасом избрали своей специальностью пилку дров на берегу реки, а в свободные часы дьякон рассказывал своему другу и всякому желающему слушать сказки «собственного сочинения», как он заявлял. Слушая эти сказки, героями которых всегда являлись святые, короли, священники и генералы, даже обитатели ночлежки брезгливо плевались и таращили глаза в изумлении перед фантазией дьякона, рассказывавшего, прищурив глаза, поразительно бесстыдные и грязные приключения. Воображение этого человека было неиссякаемо и могуче – он мог сочинять и говорить целый день и никогда не повторялся. В лице его погиб, быть может, крупный поэт, в крайнем случае недюжинный рассказчик, умевший всё оживлять и даже в камни влагавший душу своими скверными, но образными и сильными словами.

Был тут еще какой-то нелепый юноша, прозванный Кувалдой Метеором. Однажды он явился ночевать и с той поры остался среди этих людей, к их удивлению. Сначала его не замечали – днем он, как и все, уходил изыскивать пропитание, но вечером постоянно торчал около этой дружной компании, и наконец ротмистр заметил его.

– Мальчишка! Ты что такое на сей земле?

Мальчишка храбро и кратко ответил:

– Я – босяк...

Ротмистр критически посмотрел на него. Парень был какой-то длинноволосый, с глуповатой скуластой рожей, украшенной вздернутым носом. На нем была надета синяя блуза без пояса, а на голове торчал остаток соломенной шляпы. Ноги босы.

– Ты – дурак! – решил Аристид Кувалда. – Что ты тут околачиваешься? Водку пьешь? Нет... Воровать умеешь? Тоже нет. Иди, научись и приходи тогда, когда уже человеком будешь...

Парень засмеялся.

– Нет, уж я поживу с вами.

– Для чего?

– А так...

– Ах ты – метеор! – сказал ротмистр.

– Вот я ему сейчас зубы вышибу, – предложил Мартьянов.

– А за что? – осведомился парень.

– Так...

– А я возьму камень и по голове вас тресну, – почтительно объявил парень.

Мартьянов избил бы его, если б не вступился Кувалда.

– Оставь его... Это, брат, какая-то родня всем нам, пожалуй. Ты без достаточного основания хочешь ему зубы выбить; он, как и ты, без основания хочет жить с нами. Ну, и черт с ним... Мы все живем без достаточного к тому основания...

– Но лучше б вам, молодой человек, удалиться от нас, – посоветовал учитель, оглядывая этого парня своими печальными глазами.

Тот ничего не ответил и остался. Потом к нему привыкли и перестали замечать его. А он жил среди них и всё замечал.

Перечисленные субъекты составляли главный штаб ротмистра; он, с добродушной иронией, называл их «бывшими людьми». Кроме них, в ночлежке постоянно обитало человек пять-шесть рядовых босяков. Они не могли похвастаться таким прошлым, как «бывшие люди», и хотя не менее их испытали превратностей судьбы, но являлись более цельными людьми, не так страшно изломанными. Почти все они – «бывшие мужики». Быть может, порядочный человек культурного класса и выше такого же человека из мужиков, но всегда порочный человек из города неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни.

Видным представителем бывших мужиков являлся старик-тряпичник Тяпа. Длинный и безобразно худой, он держал голову так, что подбородок упирался ему в грудь, и от этого его тень напоминала своей формой кочергу. В фас лица его не было видно, в профиль можно было видеть только горбатый нос, отвисшую нижнюю губу и мохнатые седые брови. Он был первым по времени постояльцем ротмистра, про него говорили, что где-то им спрятаны большие деньги. Из-за этих денег года два тому назад его «шаркнули» ножом по шее, и с той поры он наклонил голову. Он отрицал, что у него есть деньги, говоря: «шаркнули просто так, озорство» и что с той поры ему очень удобно собирать тряпки и кости – голова постоянно наклонена к земле. Когда он шел качающейся, неверной походкой, без палки в руках и без мешка за спиной – он казался человеком задумавшимся, а Кувалда в такие моменты говорил, указывая на него пальцем:

– Смотрите, вот ищет себе пристанища совесть купца Иуды Петунникова, удравшая от него в бега. Смотрите, какая она потрепанная, скверная, грязная!

Говорил Тяпа хрипящим голосом, трудно было понимать его речь, и, должно быть, поэтому он вообще мало говорил и очень любил уединение. Но каждый раз, когда в ночлежку являлся какой-нибудь свежий экземпляр человека, вытолкнутого нуждой из деревни, Тяпа при виде его впадал в озлобление и беспокойство. Он преследовал несчастного едкими насмешками, со злым хрипом выходившими из его горла, натравливал на новичка кого-нибудь, грозил, наконец, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный мужичок исчезал из ночлежки.

Тогда Тяпа, успокоенный, забивался куда-нибудь в угол, где чинил свои лохмотья или читал Библию, такую же старую и грязную, как сам он. Он вылезал из своего угла, когда учитель читал газету. Тяпа молча слушал всё, что читалось, и глубоко вздыхал, ни о чем не спрашивая. Но когда, прочитав газету, учитель складывал ее, Тяпа протягивал свою костлявую руку и говорил:

- Дай-ка...
- На что тебе?
- Дай, – может, про нас есть что...
- Про кого это?
- Про деревню.

Над ним смеялись, бросали ему газету. Он брал ее и читал в ней о том, что в одной деревне градом побил хлеб, в другой сгорело тридцать дворов, а в третьей баба отравила мужа, – всё, что принято писать о деревне и что рисует ее несчастной, глупой и злой. Тяпа читал и мычал, выражая этим звуком, быть может, сострадание, быть может, удовольствие.

В воскресенье он не выходил за сбором тряпок, почти весь день читая Библию. Книгу он держал, упирая ее в грудь себе, и сердился, если кто-нибудь трогал ее или мешал ему читать.

– Эй ты, чернокнижник, – говорил ему Кувалда, – что ты понимаешь? Брось!

– А что ты понимаешь?

– И я ничего не понимаю, но я ведь не читаю книг...

– А я читаю...

– Ну и – глуп! – решал ротмистр. – Когда в голове заведутся насекомые – это беспокойно, но если в нее заползут еще и мысли – как же ты будешь жить, старая жаба?

– Мне недолго уж, – говорил спокойно Тяпа.

Однажды учитель захотел узнать, где он выучился грамоте. Тяпа кратко ответил ему:

– В тюрьме...

– Ты был там?

– Был...

– За что?

– Так... Ошибся... Вот и Библию оттуда вынес. Барыня одна дала... В тюрьме-то, брат, хорошо...

– Н-ну? Чем это?

– Вразумляет... Грамоте вот научился... книгу достал... Всё – даром...

Когда в ночлежку явился учитель, Тяпа уже давно жил в ней. Он долго присматривался к учителю, – чтобы посмотреть в лицо человеку, Тяпа сгибал весь свой корпус набок, – долго прислушивался к его разговорам и как-то раз подсел к нему.

– Вот – ты ученый был... Библию-то читал?

– Читал...

– То-то... Помнишь ее?

– Ну – помню...

Старик согнул корпус набок и посмотрел на учителя серым, сурово-недоверчивым глазом.

– Помнишь, были там амаликитяне?

– Ну?

– Где они теперь?

– Исчезли, Тяпа, – вымерли...

Старик помолчал и снова спросил:

– А филистимляне?

– И эти тоже...

– Все вымерли?

– Все...

– Так... А мы тоже вымерем?

– Придет время – и мы вымерем, – равнодушно обещал учитель.

– А от которого мы из колен Израилевых?

Учитель посмотрел на него, подумал и стал рассказывать о киммерийцах, скифах, славянах... Старик еще больше избочился и какими-то испуганными глазами смотрел на него.

– Врешь ты всё! – захрипел он, когда учитель кончил.

– Почему вру? – изумился тот.

– Какие ты народы назвал? Нет их в Библии.

Встал и пошел прочь, злобно ворча.

– Из ума ты выживаешь, Тяпа, – убежденно сказал вслед ему учитель.

Тогда старик снова обернулся к нему и погрозил ему крючковатым грязным пальцем.

– От господ – Адам, от Адама – евреи, значит, все люди от евреев... И мы тоже...

– Ну?

– Татары от Измаила... а он от еврея...

– Да тебе-то чего надо?

– Зачем врешь?

И ушел, оставив своего собеседника в недоумении. Но дня через два снова подсел к нему.

– Был ты ученый... должен знать – кто мы?

– Славяне, Тяпа, – ответил учитель.

– Говори по Библии – там таких нет. Кто мы – вавилоняне, что ли? Или – эдом?

Учитель пустился в критику Библии.

Старик долго, внимательно слушал его и перебил:

– погоди, – брось! Значит, в народах, богу известных, – русских нет? Известные мы богу люди? Так ли? Которые в Библии записаны – господь тех знал... Сокрушал их огнем и мечом, разрушал города и села их, а пророков посылал им для поучения, – жалел, значит. Евреев и татар рассеял, но сохранил... А мы как же? Почему у нас пророков нет?

– Н-не знаю! – протянул учитель, стараясь понять старика. А он положил руку на плечо учителя, стал тихонько толкать его взад и вперед и захрипел, будто глотая что-то...

– Так и скажи!.. А то говоришь ты много, – будто всё знаешь. Слушать мне тебя тошно... душу ты мутишь... Молчал бы лучше!.. Кто мы? То-то! Почему у нас нет пророков? А где мы были, когда Христос по земле ходил? Видишь? Эх ты! И врешь – разве целый народ может умереть? Народ русский не может исчезнуть – врешь ты... он в Библии записан, только неизвестно под каким словом... Ты народ-то знаешь, – какой он? Он – огромный... Сколько деревень на земле? Всё народ там живет, – настоящий, большой народ. А ты говоришь – вымрет... Народ не может умереть, человек может... а народ нужен богу, он строитель земли. Амалики-тяне не умерли – они немцы или французы... А ты... эх ты!.. Ну, скажи вот, почему мы богом обойдены? Нету нам ни казней, ни пророков от господя? Кто нас научит?..

Речь Тяпы была сильна; насмешка, укоризна и глубокая вера звучали в ней. Он долго говорил, и учителю, который по обыкновению был выпивши и в минорном настроении, стало, наконец, так скверно слушать его, точно его распиливали деревянной пилой. Он слушал старика, смотрел на его исковерканное тело, чувствовал странную, давившую силу слов, и вдруг ему стало до боли жалко себя. Ему тоже захотелось сказать старику что-нибудь сильное, уверенное, что-нибудь такое, что расположило бы Тяпу в его пользу, заставило бы говорить не этим укоризненно-суровым тоном, а – мягким, отечески ласковым. И учитель ощущал, как в груди у него что-то клокочет, подступает ему к горлу.

– Какой ты человек?... Душа у тебя изорванная... а говоришь! Будто что знаешь... Молчал бы...

– Эх, Тяпа, – тоскливо воскликнул учитель, – это – верно! И народ – верно!.. Он огромный. Но – я ему чужой... и – он мне чужой... Вот в чем трагедия. Но – пускай! Буду страдать... И пророков нет... нет!.. Я действительно говорю много... и это не нужно никому... но – я буду молчать... Только ты не говори со мной так... Эх, старик! ты не знаешь... не знаешь... не можешь понять.

Учитель заплакал наконец. Он заплакал легко и свободно, обильными слезами, ему стало приятно от этих слез.

– Шел бы ты в деревню, – просился бы там в учителя или в писаря... был бы сыт и проветрился бы. А то чего маешься? – сурово хрипел Тяпа.

А учитель всё плакал, наслаждаясь слезами. С этих пор они стали друзьями, и бывшие люди, видя их вместе, говорили:

– Учитель охаживает Тяпу, к деньгам его держит курс.

– Это его Кувалда подучил разведать, где стариковы капиталы...

Могло быть, говоря так, думали иначе. У этих людей была одна смешная черта: они любили показать себя друг другу хуже, чем были на самом деле.

Человек, не чувствуя в себе ничего хорошего, иногда не прочь порисоваться и своим дурным.

Когда все эти люди соберутся вокруг учителя с его газетой – начинается чтение.

– Ну-с, – говорит ротмистр, – о чем сегодня рассуждает газетина? Фельетон есть?

– Нет, – сообщает учитель.

– Жадничает издатель... а передовица имеется?

– Есть... Гуляева.

– Ага! Валяй ее; он, шельма, толково пишет, гвоздь ему в глаз.

– «Оценка недвижимых имуществ, – читает учитель, – произведенная более пятнадцати лет тому назад, и поныне продолжает служить основанием ко взиманию оценочного, в пользу города, сбора...»

– Это наивно, – комментирует ротмистр Кувалда, – продолжает служить! Это смешно! Купцу, ворочающему делами города, выгодно, чтоб она продолжала служить, ну, она и продолжает...

– Статья и написана на эту тему, – говорит учитель.

– Странно! Это фельетонная тема... об этом нужно писать с перцем...

Возгорается маленький спор. Публика слушает его внимательно, ибо водки выпита пока только одна бутылка. После передовой читают местную хронику, потом судебную. Если в этих криминальных отделах действующим и страдающим лицом является купец – Аристид Кувалда искренно ликует. Обворовали купца – прекрасно, только жаль, что мало. Лошади его разбили – приятно слышать, но прискорбно, что он остался жив. Иск в суде проиграл купец – великолепно, но печально, что судебные издержки не возложили на него в удвоенном количестве.

– Это было бы незаконно, – замечает учитель.

– Незаконно? Но законен ли сам купец? – спрашивает Кувалда. – Что есть купец? Рассмотрим это грубое и нелепое явление. Прежде всего каждый купец – мужик. Он является из деревни и по истечении некоторого времени делается купцом. Для того, чтобы сделаться купцом, нужно иметь деньги. Откуда у мужика могут быть деньги? Как известно, они не являются от трудов праведных. Значит, мужик так или иначе мошенничал. Значит, купец – мошенник-мужик!

– Ловко! – одобряет публика вывод оратора. А Тяпа мычит, потирая себе грудь. Так же точно он мычит, когда с похмелья выпивает первую рюмку водки. Ротмистр сияет. Читают корреспонденции. Тут для ротмистра – «разливанное море», по его словам. Он всюду видит, как купец скверно делает жизнь и как он портит сделанное до него. Его речи громят и уничтожают купца. Его слушают с удовольствием, потому что он – зло ругается.

– Если б я писал в газетах! – восклицает он. – О, я бы показал купца в его настоящем виде... я бы показал, что он только животное, временно исполняющее должность человека. Он груб, он глуп, не имеет вкуса к жизни, не имеет представления об отечестве и ничего выше пятака не знает.

Объедок, зная слабую струну ротмистра и любя злить людей, ехидно вставляет:

– Да, с той поры, как дворяне начали помирать с голода, – исчезают люди из жизни...

– Ты прав, сын паука и жабы; да, с той поры, как дворяне пали, – людей нет! Есть только купцы... и я их не-на-вижу!

– Оно и понятно, потому что и ты, брат, погран во прах ими же...

– Я? Я погиб от любви к жизни, – дурак! Я жизнь любил – а купец ее обирает. Я не выношу его именно за это – а не потому, что я дворянин. Я, если хочешь знать, не дворянин, а бывший человек. Мне теперь наплевать на всё и на всех... и вся жизнь для меня – любовница, которая меня бросила, за что я презираю ее.

– Врешь! – говорит Объедок.

– Я вру? – орет Аристид Кувалда, красный от гнева.

– Зачем кричать? – раздается холодный и мрачный бас Мартьянова. – Зачем рассуждать? Купец, дворянин – нам какое дело?

– Поелику мы ни бэ, ни мэ, ни ку-ку-ре-ку... – вставляет дьякон Тарас.

– Отстаньте, Объедок, – примирительно говорит учитель. – Зачем солить селедку?

Он не любит спора и вообще не любит шума. Когда вокруг разгораются страсти, его губы складываются в болезненную гримасу, он рассудительно и спокойно старается помирить

всех со всеми, а если это не удастся ему, уходит от компании. Зная это, ротмистр, если он не особенно пьян, сдерживается, не желая терять в лице учителя лучшего слушателя своих речей.

– Я повторяю, – более спокойно продолжает он, – я вижу жизнь в руках врагов, не врагов только дворянина, но врагов всего благородного, алчных, неспособных украсить жизнь чем-либо...

– Однако, брат, – говорит учитель, – купцы создали Геную, Венецию, Голландию, купцы Англии завоевали своей стране Индию, купцы Строгановы...

– Какое мне дело до тех купцов? Я имею в виду Иуду Петунникова и иже с ним...

– А до этих тебе какое дело? – тихо спрашивает учитель.

– А – разве я не живу? Ага! Живу – значит, должен негодовать при виде того, как жизнь портят дикие люди, полонившие ее.

– И смеются над благородным негодованием ротмистра и человека в отставке, – задирает Обьедок.

– Хорошо! Это глупо, я согласен... Как бывший человек, я должен смарать в себе все чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, верно... Но чем же я и все вы – чем же вооружимся мы, если отбросим эти чувства?

– Вот ты начинаешь говорить умно, – поощряет его учитель.

– Нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства... нам нужно что-то такое, новое... ибо и мы в жизни новость...

– Несомненно нам нужно это, – говорит учитель.

– Зачем? – спрашивает Конец. – Не всё ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить... мне сорок, тебе пятьдесят... моложе тридцати нет среди нас. И даже в двадцать долго не проживешь такую жизнь.

– И какая мы новость? – усмехается Обьедок. – Гольтепа всегда была.

– И она создала Рим, – говорит учитель.

– Да, конечно, – ликует ротмистр, – Ромул и Рем – разве они не золоторотцы? И мы – придет наш час – создадим...

– Нарушение общественной тишины и спокойствия, – перебивает Обьедок. Он хохочет, довольный собой. Смех у него скверный, разъедающий душу. Ему вторит Симцов, дьякон, Полтора Тараса. Наивные глаза мальчишки Метеора горят ярким огнем, и щеки у него краснеют. Конец говорит, точно молотом бьет по головам:

– Всё это глупости, – мечты, – ерунда!

Странно было видеть так рассуждающими этих людей, изгнанных из жизни, рваных, пропитанных водкой и злобой, иронией и грязью.

Для ротмистра такие беседы были положительно праздником сердца. Он говорил больше всех, и это давало ему возможность считать себя лучше всех. А как бы низко ни пал человек – он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее, – хотя бы даже только сытее своего ближнего. Аристид Кувалда злоупотреблял этим наслаждением, но не пресыщался им, к неудовольствию Обьедка, Кубаря и других бывших людей, мало интересовавшихся подобными вопросами.

Но зато политика была общей любимицей. Разговор на тему о необходимости завоевания Индии или об укрощении Англии мог затянуться бесконечно. С не меньшей страстью говорили о способах радикального искоренения евреев с лица земли, но в этом вопросе верх всегда брал Обьедок, сочинявший изумительно жестокие проекты, и ротмистр, желавший везде быть первым, избегал этой темы. Охотно, много и скверно говорили о женщинах, но в защиту их всегда выступал учитель, сердившийся, если очень уж пересаливали. Ему уступали, ибо все смотрели на него как на человека недюжинного и – у него, по субботам, занимали деньги, заработанные им за неделю.

Он вообще пользовался многими привилегиями: его, например, не били в тех нередких случаях, когда беседа заканчивалась всеобщей потасовкой. Ему было разрешено приводить в ночлежку женщин; больше никто не пользовался этим правом, ибо ротмистр всех предупреждал:

– Баб ко мне не водить... Бабы, купцы и философия – три причины моих неудач. Изобью, если увижу кого-нибудь, явившегося с бабой!.. Бабу тоже изобью... За философию – оторву голову...

Он мог оторвать голову – несмотря на свои года, он обладал удивительной силой. Затем, каждый раз, когда он дрался, ему помогал Мартьянов. Мрачный и молчаливый, точно надгробный памятник, во время общего боя он всегда становился спиной к спине Кувалды, и тогда они изображали собой всё сокрушавшую и несокрушимую машину.

Однажды пьяный Симцов ни за что ни про что вцепился в волосы учителя и выдрал клоч их. Кувалда ударом кулака в грудь уложил его на полчаса в обморок, а когда он очнулся, заставил его съесть волосы учителя. Тот съел, боясь быть избитым до смерти.

Кроме чтения газеты, разговоров и драк, развлечением служила еще игра в карты. Играли без Мартьянова, ибо он не мог играть честно, о чем, после нескольких уличений в мошенничестве, сам же откровенно и заявил:

– Я не могу не передергивать... Это у меня привычка.

– Бывает, – подтвердил дьякон Тарас. – Я привык дьяконицу свою по воскресеньям после обедни бить; так, знаете, когда, умерла она – такая тоска на меня по воскресеньям нападала, что даже невероятно. Одно воскресенье прожил – вижу, плохо! Другое – стерпел. Третье – кухарку ударил раз... Обиделась она... Подам, говорит, мировому. Представьте себе мое положение! На четвертое воскресенье – вздул ее, как жену! Потом заплатил ей десять целковых и уж бил по заведенному порядку, пока опять не женился...

– Дьякон, – врешь! Как ты мог в другой раз жениться? – оборвал его Обьедок.

– А? А я так – она у меня за хозяйством смотрела.

– У вас были дети? – спросил его учитель.

– Пять штук... Один утонул. Старший, – забавный был мальчишка! Двое умерли от дифтерита... Одна дочь вышла замуж за какого-то студента и поехала с ним в Сибирь, а другая захотела учиться и умерла в Питере... от чахотки, говорят... Д-да... пять было... как же! Мы, духовенство, плодовитые...

Он стал объяснять, почему это именно так, возбуждая гомерический хохот своим рассказом. Когда хохотать устали, Алексей Максимович Симцов вспомнил, что у него тоже была дочь.

– Лидкой звали... Толстая такая...

И больше он, должно быть, не помнил ничего, потому что посмотрел на всех, улыбнулся виновато и – умолк.

О своем прошлом эти люди мало говорили друг с другом, вспоминали о нем крайне редко, всегда в общих чертах и в более или менее насмешливом тоне. Пожалуй, что такое отношение к прошлому и было умно, ибо для большинства людей память о прошлом ослабляет энергию в настоящем и подрывает надежды на будущее.

А в дождливые, серые, холодные дни осени бывшие люди собирались в трактире Вавилова. Там их знали, немножко боялись, как воров и драчунов, немножко презирали, как горьких пьяниц, но все-таки уважали и слушали, считая умными людьми. Трактир Вавилова был клубом Въезжей улицы, а бывшие люди – интеллигенцией клуба.

По субботам – вечерами, в воскресенье – с утра до ночи – трактир был полон, и бывшие люди являлись в нем желанными гостями. Они вносили с собой в среду забитых бедностью и горем обывателей улицы свой дух, в котором было что-то, облегчавшее жизнь людей, истом-

ленных и растерявшихся в погоне за куском хлеба, таких же пьяниц, как обитатели убежища Кувалды, и так же сброшенных из города, как и они. Уменье обо всем говорить и всё осмеивать, безбоязненность мнений, резкость речи, отсутствие страха перед тем, чего вся улица боялась, бесшабашная, бравирующая удаль этих людей – не могли не нравиться улице. Затем, почти все они знали законы, могли дать любой совет, написать прошение, помочь безнаказанно смонничать. За всё это им платили водкой и лестным удивлением пред их талантами.

По своим симпатиям улица делилась на две, почти равные, партии. Одна полагала, что «ротмистр – куда забористей учителя, настоящий воин! Храбрость и ум у него большущие!» Другая была убеждена, что учитель во всех отношениях «перевесил» Кувалду. Поклонниками Кувалды являлись те из мещанства, которые были известны в улице как записные пьяницы, воры и сорвиголовы, для которых путь от суммы до тюрьмы был неизбежен. Учителя уважали люди более степенные, на что-то надеявшиеся, чего-то ожидавшие, вечно чем-то занятые и редко сытые.

Характер отношений Кувалды и учителя к улице точно определился следующим примером. Однажды в трактире обсуждалось постановление городской думы, коим обыватели Въезжей улицы обязывались: рытвины и промоины в своей улице засыпать, но навоза и трупов домашних животных для сей цели не употреблять, а применять к делу только щебень и мусор с мест постройки каких-либо зданий.

– Откуда же я должен взять этот самый щебень, ежели я за всю свою жизнь одну только скворешницу хотел строить, да и то вот еще не собрался? – жалобно заявил Мокей Анисимов, человек, промышлявший торговлей тертыми калачами, которые пекла его жена.

Ротмистр нашел, что ему следует высказаться по данному вопросу, и грохнул кулаком по столу, привлекая к себе внимание.

– Откуда взять щебень и мусор? Иди, ребята, всей улицей в город и разбирай думу. Больше она по своей ветхости ни на что не годится. Таким образом, вы дважды послужите украшению города – и Въезжую сделаете приличной, и новую думу заставите построить. Лошадей для возки возьмите у головы, да захватите и его трех дочек – девицы для упряжки вполне годные. А то разрушьте дом купца Иуды Петунникова и вымостите улицу деревом. Кстати, я знаю, Мокей, на чем твоя жена сегодня калачи пекла – на ставнях с третьего окна и двух ступеньках с крыльца Иудина дома.

Когда публика вдоволь нахохоталась, степенный огородник Павлюгин спросил:

– А как же все-таки быть-то, ваше благородие?..

– Ни рукой, ни ногой не двигать! Размывает улицу – ну и пускай!

– Некоторые дома попадать хотят...

– Не мешайте им, пускай падают! Упадут – дери с города вспомоществование; не даст – валяй к нему иск! Вода-то откуда течет? Из города? Ну, город и виновен в разрушении домов...

– Вода – от дождя, скажут...

– Да ведь в городе дома от дождя не валятся? Он с вас налоги дерет, а голоса вам для разговора о ваших правах не дает! Он вам жизнь и имущество портит да вас же и чинить заставляет! Катай его спереди и сзади!

И половина улицы, убежденная радикалом Кувалдой, решила ждать, когда ее домишки смоет дождевой водой из города.

Более степенные люди нашли в учителе человека, который составил им убедительную реляцию думе.

В этой реляции отказ улицы выполнить постановление думы был мотивирован настолько солидно, что дума вняла. Улице разрешили воспользоваться мусором, оставшимся от ремонта казарм, и дали ей для возки пять лошадей пожарного обоза. Даже более – признали необходимым проложить, со временем, по улице сточную трубу. Это и многое другое создало учителю широкую популярность в улице. Он писал прошения, печатал заметки в газетах. Так,

например, однажды гости Вавилова заметили, что селедки и другие снеди в трактире Вавилова совершенно не соответствуют своему назначению. И вот дня через два Вавилов, стоя за буфетом с газетой в руках, публично каялся.

– Справедливо – одно могу сказать! Действительно, селедки купил я ржавые, не совсем хорошие селедки. И капуста – верно!.. задумалась она немножко. Известно, ведь каждый человек хочет как можно больше в свой карман пятак нагнать. Ну, и что же? Вышло совсем наоборот: я – посягнул, а умный человек предал меня позору за жадность мою... Квит!

Это покаяние произвело на публику очень хорошее впечатление и дало возможность Вавилову скормить ей и селедку и капусту, – всё это публика, под приправой своего впечатления, незаметно скушала. Факт весьма значительный, ибо он не только увеличивал престиж учителя, но и знакомил обывателя с силой печатного слова. Случалось, что учитель читал в трактире лекции практической морали.

– Видел я, – говорил он, обращаясь к маляру Яшке Тюрину, – видел я, как ты бил свою жену...

Яшка уже «подмалевался» двумя стаканами водки и находился в ухарски развязном настроении. Публика смотрит на него, ожидая, что вот сейчас он «выкинет коленце», и в характерне воцаряется тишина.

– Видел? Понравилось? – спрашивает Яшка. Публика сдержанно смеется.

– Нет, не понравилось, – отвечает учитель. Тон его так внушительно серьезен, что публика молчит.

– Кажись бы, я старался, – бравирует Яшка, предчувствующий, что учитель его «срезет». – Жена довольна, – не встает сегодня...

Учитель задумчиво на столе пальцем чертит какие-то фигуры и, разглядывая их, говорит:

– Видишь ли, Яков, почему мне не нравится это... Разберем основательно, что именно ты делаешь и чего можно тебе от этого ждать. Жена у тебя беременна; ты бил ее вчера по животу и по бокам – значит, ты бил не только ее, но и ребенка. Ты мог его убить, и при родах жена твоя умерла бы от этого или сильно захворала. Возиться с больной женой и неприятно и хлопотно, и дорого это будет тебе стоить, потому что болезни требуют лекарств, а лекарства – денег. Если же ты ребенка не убил еще, то, наверное, изувечил, и он, быть может, родится уродом: кривобоким, горбатым. Значит, он не будет способен к работе, а для тебя важно, чтобы он был работником. Даже если он родится только больным – и то скверно: свяжет мать и потребует лечения. Видишь ли, что ты себе готовишь? Люди, живущие трудом своих рук, должны рождаться здоровыми и рожать здоровых детей... Верно я говорю?

– Верно, – подтверждает публика.

– Ну, это, чай, тово, – не случится! – говорит Яшка, несколько робея перед перспективой, нарисованной учителем. – Она здоровая... сквозь ее до ребенка не дойдешь, поди-ка? Ведь она, дьявол, больно уж ведьма! – восклицает он с огорчением. – Чуть я что, – и пойдет меня есть, как ржа железо!

– Я понимаю, Яков, что тебе нельзя не бить жену, – снова раздается спокойный и вдумчивый голос учителя, – у тебя на это много причин... Не характер твоей жены причина того, что ты ее так неосторожно бьешь... а вся твоя темная и печальная жизнь...

– Вот это верно, – восклицает Яков, – живем действительно в темноте, как у трубочиста за пазухой.

– Ты злишься на всю жизнь, а терпит твоя жена... самый близкий к тебе человек – и терпит без вины перед тобой только потому, что ты ее сильнее; она у тебя всегда под рукой, и деваться ей от тебя некуда. Видишь, как это... нелепо!

– Оно так... черт ее возьми! Да ведь что же мне делать-то? Али я не человек?

– Так, ты человек!.. Ну, вот я тебе хочу сказать: бить ты ее бей, если без этого не можешь, но бей осторожно: помни, что можешь повредить ее здоровью или здоровью ребенка. Никогда

вообще не следует бить беременных женщин по животу, по груди и бокам – бей по шее или возьми веревку и... по мягким местам...

Оратор кончил свою речь, и его глубоко ввалившиеся темные глаза смотрят на публику и, кажется, в чем-то извиняются перед ней и о чем-то виновато спрашивают ее.

Она же оживленно шумит. Ей понятна эта мораль бывшего человека – мораль кабака и несчастья.

– Что, брат Яша, понял?

– Вот она какая правда-то бывает!

Яков понял: неосторожно бить жену – вредно для него.

Он молчит, отвечая смущенными улыбками на шутки товарищей.

– И опять же, что такое жена? – философствует калачник Мокей Анисимов. – Жена – друг, ежели правильно вникнуть в дело. Она к тебе вроде как цепью на всю жизнь прикована, и оба вы с ней на манер каторжников. Старайся идти с ней стройно в ногу, не сумеешь – цепь почуешь...

– Погоди, – говорит Яков, – ведь и ты свою бьешь?

– А я разве говорю – нет? Бью... Иначе невозможно... Кого же мне – стену, что ли, дуть кулаками, когда невтерпеж приходит?

– Ну вот, и я тоже... – говорит Яков.

– Ну, какая же у нас жизнь тесная и аховая, братцы мои! Нет тебе нигде настоящего размаха!

– И даже жену бей с оглядкой! – юмористически скорбит кто-то.

Так они беседуют до поздней ночи или до драки, возникающей на почве опьянения и тех настроений, какие навевают на них эти беседы.

За окнами трактира дождь идет, дико воет холодный ветер. В трактире душно, накурено, но тепло; на улице мокро, холодно и темно. Ветер так стучит в окно, точно дерзко вызывает всех этих людей из трактира и грозит разнести их по земле, как пыль. Иногда в его вое слышится подавленный, безнадежный стон и потом раздается холодный, жесткий хохот. Эта музыка наводит на унылые мысли о близости зимы, о проклятых коротких днях без солнца, о длинных ночах, о необходимости иметь теплую одежду и много есть. На пустой желудок так плохо спится в бесконечные зимние ночи. Идет зима, идет... Как жить?

Невеселые думы вызвали усиленную жажду обывателей Въезжей, у бывших людей увеличивалось количество вздохов в их речах и количество морщин на лицах, голоса становились глуше, отношения друг к другу тупее. И вдруг среди них вспыхивала зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей загнанных, измученных своей суровой судьбой.

Тогда они били друг друга; били жестоко, зверски; били и снова, помирившись, напивались, пропивая всё, что мог принять в заклад нетребовательный Вавилов. Так, в тупой злобе, в тоске, сжимавшей им сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы.

Кувалда в такие времена приходил к ним на помощь с философией.

– Не горюй, братцы! Всё имеет свой конец – это самое главное достоинство жизни. Пройдет зима, и снова будет лето... Славное время, когда, говорят, и у воробья – пиво.

Но его речи не действовали – глоток самой чистой воды не насытит голодного.

Дьякон Тарас тоже пробовал развлечь публику, распевая песни и рассказывая свои сказки. Он имел более успеха. Иногда его усилия приводили к тому, что вдруг отчаянное, удалое веселие вскипало в трактире: пели, плясали, хохотали и на несколько часов становились похожими на безумных.

Потом снова впадали в тупое, равнодушное отчаяние, сидя за столами в копоты ламп, в табачном дыму, угрюмые, оборванные, лениво переговариваясь друг с другом, слушая вой ветра и думая о том, как бы напиться, напиться до потери чувств.

И все были глубоко противны каждому, и каждый таил в себе бессмысленную злобу против всех.

II

Всё относительно на этом свете, и нет в нем для человека того положения, хуже которого не могло бы ничего быть.

Однажды в конце сентября, ясным днем, ротмистр Аристид Кувалда сидел, по обыкновению, в своем кресле у дверей ночлежки и, глядя на возведенное купцом Петунниковым каменное здание рядом с трактиром Вавилова, думал.

Здание, еще окруженное лесами, предназначалось под свечной завод и давно уже кололо глаза ротмистру пустыми, темными впадинами длинного ряда окон и паутиной дерева, окружавшей его от основания до крыши. Красное, точно кровью обмазанное, оно походило на какую-то жестокую машину, еще не действующую, но уже разинувшую ряд глубоких, жадно зияющих пастей и готовую что-то жевать и пожирать. Серый деревянный трактир Вавилова, с кривой крышей, поросшей мхом, оперся на одну из кирпичных стен завода и казался большим паразитом, присосавшимся к ней.

Ротмистр думал о том, что скоро и на месте старого дома начнут строить. Сломают и ночлежку. Придется искать другое помещение, а такого удобного и дешевого не найдешь. Жалко, грустно уходить с насиженного места. Уходить же придется только потому, что некий купец пожелал производить свечи и мыло. И ротмистр чувствовал, что если б ему представился случай чем-нибудь хоть на время испортить жизнь этому врагу – о! с каким наслаждением он испортил бы ее!

Вчера купец Иван Андреевич Петунников был на дворе ночлежки с архитектором и своим сыном. Измеряли двор и всюду натыкали в землю каких-то палочек, которые, по уходе Петунникова, ротмистр приказал Метеору вытаскать из земли и разбросать.

Перед глазами ротмистра стоял этот купец – маленький, сухонький, в длиннополом одеянии, похожем одновременно на сюртук и на поддевку, в бархатном картузе и высоких, ярко начищенных сапогах. Костлявое, скуластое лицо, с седой клинообразной бородкой, с высоким изрезанным морщинами лбом, и из-под него сверкали узкие серые глазки, прищуренные, всегда что-то высматривающие. Острый хрящеватый нос, маленький рот с тонкими губами. В общем, у купца вид благочестиво хищный и почтенно злой.

«Проклятая помесь лисицы и свиньи!» – выругался про себя ротмистр и вспомнил первую фразу Петунникова, касавшуюся его. Купец пришел с членом городской управы покупать дом и, увидев ротмистра, спросил у своего провожатого бойким костромским говором:

– Энто тот самый огарок – квартирант-от ваш?

И с той поры вот уже почти полтора года они состязаются друг с другом в своем умении оскорблять человека.

И вчера между ними произошло легонькое «упражнение в буесловии», как называл ротмистр свои разговоры с купцом. Проводив архитектора, купец подошел к ротмистру.

– Сидишь? – спросил он, дергая рукой за козырек картуза, так что нельзя было понять, поправляет ли он его или же хочет изобразить поклон.

– Мыкаешься? – в тон ему сказал ротмистр и сдалал движение нижней челюстью, отчего борода его вздрогнула и что нетребовательный человек мог принять за поклон или за желание ротмистра пересунуть свою трубку из одного угла рта в другой.

– Денег у меня много – вот и мыкаюсь. Деньги хотят, чтоб их в жизнь пускали, вот я и даю им ход, – дразнит ротмистра купец, лукаво прищуривая глазки.

– Не тебе, значит, рубль служит, а ты рублю, – комментирует Кувалда, борясь с желанием дать пинка в живот купцу.

– Али это не всё равно? С ними, с деньгами-то, всяко приятно... А вот ежели без них...

И купец с нахально подделанным состраданием оглядывает ротмистра. У того верхняя губа прыгает, обнажая крупные волчьи зубы.

– Имея ум и совесть, можно жить и без них... Деньги обыкновенно являются как раз в то время, когда у человека совесть усыхать начинает... Совесть меньше – денег больше...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.